## Четыре друга

# Сергей Снегов

1

Начну с признания: я не принадлежу к числу горячих поклонников Кондрата Сабурова. И я не был его близким другом, как считают многие. Больше того, он временами был мне антипатичен. Прекрасная Адель Войцехович со всей свойственной ей бесцеремонностью убеждала Кондрата — да и меня самого, — что я ему завидую. Не думаю, что она права. Я не собираюсь ни обелять себя, ни тем более напяливать на себя ангельские крылышки. Я не ангел, это бесспорно. Но и не дьявол, каким она меня живописует. Оставляя в стороне объективную научную ценность моих споров с Кондратом, уверен, они имели и то немаловажное субъективное значение, что ограничивали его фантазию. Он заносился, его нужно было одергивать. Когда человек вообразит себя непогрешимым, ему море по колено. А море топит корабли, на нем разражаются бури. Здесь главный источник наших разногласий. Я настаиваю на этом, что бы теперь ни говорили о моем скверном характере Адель и Эдуард, изменившие Кондрату в труднейший час его изысканий. Трагический финал экспериментов свидетельствует, что прав был я, требовавший от Кондрата осмотрительности, а не они, толкавшие его на научные авантюры. И я оплакивал гибель Кондрата ничуть не меньше, чем те двое. Ибо ушел от Кондрата, а не предал его. Он мне однажды сказал: «В тебе я уверен, Мартын, ты не изменишь, изменить может только друг, а какой ты мне друг!» Так он понимал меня, Кондрат Сабуров, руководитель Лаборатории ротоновой энергии. И у меня нет причин стыдиться такой оценки.

Именно в таком смысле я и высказался, когда директор Объединенного института № 18 академик Огюст Ларр и его заместитель Карл-Фридрих Сомов вызвали меня на собеседование. Я ни одной минуты не сомневался, что будет не собеседование, а допрос, и не постеснялся довести до их сведения свое понимание. Хорошо помню, как по-разному они восприняли мой выпад.

Сейчас я формально обязался вести запись всего, что хоть в отдаленной степени касалось работ в ротоновой лаборатории, и с удовольствием вписываю в свой отчет и ту беседу с руководителями института, ибо она не в отдаленной, а в очень близкой степени затрагивала обстоятельства трагедии.

Огюст Ларр вызвал меня в свой роскошный кабинет в полдень. Окна выходили на южную сторону, и сквозь стекла лилось жаркое солнце. Я не люблю чрезмерного света и сел к солнцу спиной. Против своего обыкновения, Ларр сидел за столом. На огромном столе лежала толстая папка с какими-то бумагами. Я сказал «против обыкновения», потому что почтенный академик редко обретается в кабинете, его любимое местопребывание — институтские коридоры, где он прогуливается то с одним, то с другим сотрудником, заводя бесконечные обсуждения. А если и проникает в свой кабинет, то не сидит, а прохаживается вдоль окон или стены — длиннющим его ногам, видимо, противопоказан покой. Сейчас он сидел, и это, не сомневаюсь, должно было подчеркивать важность разговора. Он положил на стол волосатые, лопатой, ладони, вытянул ноги под столом и не сводил с меня настороженного, но, в общем, доброго взгляда — под кустистыми бровями на узком лице, перегороженном, как барьером, огромным носом, глаза его, ярко-голубые, посверкивали, как подожженные изнутри. У него, конечно, красочная физиономия, у нашего прославленного астрофизика Огюста Ларра, в Портретном зале Академии наук только президент Академии Альберт Боячек может соперничать с ним в выразительности лица.

А Карл-Фридрих Сомов, заместитель по общим проблемам, сидел у торца директорского стола и, не глядя на меня, что-то писал и черкал в обширном блокноте. Он притворялся, что инициатива вызова принадлежит Ларру, а не ему. И то, что он вызывающе отстраняется от беседы, предоставляя ее директору, хотя каждому в институте ведомо, что именно Сомов, а не Ларр занимается всем, что не имеет сугубо научного содержания, сразу возмутило меня. Если Сомов хотел настроить меня давать сдачи в ответ на любое принуждение, то мог заранее рассчитывать на полный успех.

— Друг Мартын, нам хорошо известно, что вы невиновны в несчастье в ротоновой лаборатории, — так дипломатично начал Огюст Ларр. Он, несомненно, планировал умелой фразой смягчить ожидаемую от меня резкость. И план его, естественно, имел бы успех, если бы сам Ларр не испортил его последующими словами: — Но вы были посвящены во все детали исследований Сабурова, знали его цели и намерения, он делился с вами своими идеями...

Я понял, что нужно немедля поставить межи разговору, ибо он грозил безбрежно расплыться.

— Детали экспериментов я, конечно, знал. О целях, которые ставил себе Сабуров, иногда догадывался. Что до идей, то они являлись ему столь густо и были столь разнообразны, что он и сам в них не всегда разбирался, а уж поделиться ими зачастую забывал.

— Но его намерения...

— То же относится и к его намерениям. Я полагаю, речь идет об экспериментах, а не общечеловеческих свойствах? В быту его намерения были обычны: поесть, если уж стало невтерпеж после пропуска обеда пропускать еще и ужин, поспать часок днем после бессонной ночи. Тут он был такой же, как вы или я.

— Вы считаете обычным быть таким, как вы? Но, друг Мартын, общее мнение в институте, что если и поискать необычностей, то лучшего примера, чем даете вы, не найти.

— В институте № 18 ошибаются не только в научных экспериментах, парировал я. — Однако не понимаю: вы вызвали меня для обсуждения моего характера?

— Вы сами догадываетесь: не для этого. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в причинах взрыва в ротоновой лаборатории.

— Вы недовольны отчетом вами же назначенной следственной комиссии? Разве она не зафиксировала все обстоятельства трагедии?

— Ваше мнение не отражено в выводах комиссии, а оно существенно — вы были самым близким сотрудником Сабурова.

— Во время взрыва и последующего расследования я находился в командировке на дальних планетах, поэтому не мог приобщить своих показаний к тому, что комиссия установила. Последние эксперименты Сабурова мне неизвестны. И у меня не было никакого желания знакомиться с ними. Я не из тех, кто сует свой нос в дела, от которых его бесцеремонно отстраняют.

— Вы написали мне, что просите перевода, потому что вас заинтересовали другие темы, — мягко напомнил директор.

Я не сдержал горечи.

— А как было писать? Что Кондрат указал мне на дверь? А ведь было так! Не просто указал на дверь, а схватил за шиворот и пытался вытолкнуть в коридор. Только то, что я много сильней его и не постеснялся доказать ему это, спасло меня от вылета наружу. Этого было достаточно, чтобы я навсегда перестал интересоваться всем, что Сабуров делает в лаборатории. Не требуйте от меня никаких показаний. Я не уверен, что они смогут быть объективными.

Ларр, по всему, не ожидал такого отпора. И тут в беседу вступил Карл-Фридрих Сомов. Я никогда не разделял ненависти Кондрата к первому заместителю директора. Но и мне неприятен этот сухой педант — широкое, безжизненно-желтоватое лицо, желтые волосы, желтые глаза, удивительно скучный голос. Кондрат и голос его со злостью называл желтым. Вообще, мне кажется, каждый несет свой особый основной цвет и его можно фиксировать фотометром и вносить в паспорт, наряду с группой крови и пейзажем линий на пальце, как важное индивидуальное отличие. Например, в этой шкале цветов Кондрат был бы пламенно-малиновым, Адель — тонко-салатной, Эдуард томно-фиолетовым, а наш директор Огюст Ларр — мощно-оранжевым: ведь оранжевый проникает сквозь туман и пыль, а разве такое проникновение сквозь темень научных проблем не является характерной чертой академика Огюста Ларра, многолетнего директора Объединенного института № 18?

Карл-Фридрих Сомов сказал, как бы нехотя глянув на меня глубоко посаженными тусклыми глазами:

— Ваши отношения с Сабуровым имеют для нас важное значение, друг Мартын. Вы, очевидно, не соглашались в чем-то с методикой его экспериментов. Последующие события косвенно оправдывают ваше враждебное отношение...

Я прервал его:

— Я не был врагом Сабурову. У Кондрата не было врагов. Впрочем, ошибаюсь. Один враг у пего в институте все-таки был.

— Назовите его! — Сомов, конечно, знал, кого я имею в виду, и шел напролом.

— Этот враг — вы! Только вы, и никто другой!

Ларр молча переводил удивленный взгляд с меня на Сомова и снова на меня. Я твердо решил высказать Сомову если не все, то многое, что думаю о нем. Он не показал ни удивления, ни гнева. Лишь с издевательской вежливостью попросил объяснения. На мгновение даже тусклые глаза его вспыхнули.

— Значит, вы наносите мне личное оскорбление? Я правильно понял?

— Неправильно, конечно. Не оскорбляю, а деловито квалифицирую ваше отношение к Сабурову.

Ларр счел, что нужно вмешаться в перепалку, опасно уводившую разговор от намеченной темы.

— Друг Мартын, мне неприятно ваше высказывание. В институте нет вражды. Соперничество, соревнование, споры — да, но не вражда.

Я молча пожал плечами, дав им обоим понять, что имею свое мнение о взаимоотношениях в институте — и хоть не намерен всюду кричать об этом, они с моим мнением должны считаться.

Карл-Фридрих Сомов принадлежал к людям, которых резкое суждение не способно сбить с толку. На его широком лице засветилась усмешка. Иногда он изменял своей камуфлирующей неприметности. Сейчас был такой редкий случай. Мне показалось, что ему даже приятно обвинение во вражде к Сабурову и что он не прочь признаться в ней, только мешает категорический запрет Огюста Ларра.

Опять заговорил директор:

— Мы имеем официальный отчет о несчастье в Лаборатории ротоновой энергии. Отчет добросовестен и точен, но не полон. Дело в том, что сохранились дневники Сабурова, и они показывают, что, кроме научных интересов, связанных с ротоновыми исследованиями, были и сугубо личные. Нам важно установить в его экспериментах меру личного и производственного, думаю, эти два термина, «личное» и «производственное», всего точней характеризуют задачу. И мы хотим поручить ее решение вам. Вы лучше всех в институте способны разобраться в загадках трагедии и дополнить официальный отчет очень важными деталями.

— У меня теперь иные научные темы, — сказал я.

— Они не срочные. Мы разрешим вам временно законсервировать свои исследования.

Я задумался. Разумеется, я понимал, что проблемы ротоновой энергии несравненно значительней того, что я нынче изучал в своей крохотной лабораторийке. И, естественно, после гибели Кондрата именно я был всех компетентней в ротоновых экспериментах. Скажу даже, если бы руководство института, задумав восстановление ротоновой лаборатории, поручило другому разобраться в загадках взрыва, я был бы уязвлен. Но воспоминание о ссоре с Кондратом мешало сразу ответить «да». Я думал об Адели Войцехович и об Эдуарде Ширвинде. Они воспримут мое возвращение к ротоновым делам как попытку свести посмертные счеты с Кондратом. Не считаться с их чувствами я не мог.

— Мы понимаем ваши колебания... — осторожно сказал директор.

— Вряд ли, — отрезал я. — Мои колебания к науке отношения не имеют. В общем, я согласен.

По тому, как облегченно вздохнул Огюст Ларр, было ясно, что он не надеялся на столь быстрое согласие. Даже сухарь Сомов радостно ухмыльнулся. Оба эти столь непохожие один на другого человека одинаково неверно воспринимали меня. Впрочем, не одни они преувеличивали дурные свойства моего характера, я привык к таким преувеличениям. И даже научился использовать превратное представление о себе как о несдержанном и резком до грубости — охотно признаюсь и в этой маленькой деловой хитрости.

Сомов протянул мне пухлую папку с бумагами.

— Здесь отчет комиссии и дневник Сабурова. Они вам понадобятся.

Я отвел рукой папку.

— Не сейчас. Раньше составлю собственное мнение о происшествии, потом буду сверять его с отчетом и дневником.

— Еще одно, друг Мартын, — сказал Огюст Ларр. — Вам будет предоставлено право вызывать к себе любого сотрудника для вопросов. И если захотите поговорить со мной или с Сомовым, можете требовать и нас к себе.

— Непременно воспользуюсь этой привилегией, — пообещал я и ушел.

В моей лаборатории были свои маленькие загадки и срочные проблемы. Но они меня больше не интересовали. Придя туда, я выключил приборы, остановил генераторы и попросил повесить пломбу на дверях.

— Месяц меня здесь не будет, — сказал я сотрудникам, их было трое, хорошие, работящие парии. — И вас тоже не будет. В Австралии сейчас весна. Почему бы вам не позагорать на пляжах Тихого океана?

Чудаки даже не поинтересовались, отчего неожиданный перерыв в работе. Впрочем, они всегда ворчали, что я тиран и что им не хватает времени даже на еду, не говоря о «полнометражном сне» — так они именовали свои мечты о безделье. Уверен, что еще не кончился день, как вся троица катила куда-нибудь подальше от Столицы и адресов своих мест отдыха предусмотрительно но оставила.

А я пошел в институтский парк. По графику Управления Земной Оси в районе Столицы сейчас значилась осень — метеорологи только гармонизировали природный климат, а не заменяли его своими искусственными разработками.

Я сел на скамейку у озера. Ласковый ветерок морщил воду, шелестел в желтеющих липах и вязах. По небу пробегали быстрые яркие облачка, на высоте, видимо, дуло сильней, чем на земле. Мне было хорошо и скверно. Хорошо от картины воды и облаков, от теплого ветра, овевающего лицо, от смутного бормотания деревьев и еще от того, что несправедливость отстранения меня от любимого дела теперь отменена и мне выпадает судьба восстановить важные эксперименты. Некогда я весь, всеми мыслями, всеми чувствами жил ими, а недавно горевал, что они стали недосягаемо далеки... И было скверно, что к радостной перспективе восстановления ротоновой лаборатории надо идти мучительной дорогой — разбираться в ошибках и просчетах Кондрата, в своих ошибках и просчетах, они, несомненно, тоже были, и снова переживать со всей душевной болью и нашу с ним ссору, и его такую нелепую, такую немыслимую гибель...

— Ладно, держи себя в руках! — вслух сказал я. — Ты на людях сохранял невозмутимость, только наедине с собой позволял себе раскисать. Теперь умение показывать спокойствие понадобится еще больше. Ибо среди тех, кого тебе разрешено вызвать, первыми будут Адель и Эдуард. Не завидую тебе, старина. Впрочем, им будет еще трудней. С чего ты начнешь?

Я начал с воспоминаний: велел своей памяти восстановить, как начиналась проблема ротоновой энергии, кто ее начинал, как шла работа. Нет, я не вспоминал расчеты, я видел лица, а не формулы, вникал в души, а не в цифры. Меня окружили те, кого я так долго любил, кого поддерживал и кого опровергал. Был полдень, когда я вышел в парк, светлый полдень перешел в хмурый вечер, вечер превратился в недобрую ночь, хлынул дождь, сбивая листву с шумящих деревьев, а я, закутавшись в плащ, не отряхивая усеивающих плечи мокрых листьев, все вспоминал, вспоминал...

2

Это было страшно давно, лет десять назад.

В нашем университете объявили публичную лекцию профессора из Праги Клода-Евгения Прохазки.

В научном мире всегда есть два рода гениев: общепризнанные, прославленные — чаще всего посмертно, — в общем, узаконенные реформаторы науки. И гении непризнанные: в их гениальности никто про себя не сомневается, но вслух этого не выскажут, ибо они ведут себя не так, как предписано вести гению.

Профессор Прохазка был ярким образцом такого никем не признанного, но несомненного научного гения. Он взрывал основы космологии — это было, естественно, актом гениальным. И он каждым своим словом, каждым новым расчетом не столько опровергал устоявшиеся воззрения, сколько оскорблял'представителей этих воззрений. Его выслушивали, он умел заставлять себя слушать, но дружно отказывали в признании. Он изобретательно высмеивал оппонентов, устраивал публичные скандалы из нормальных дискуссий. Если в мире существовал академический дебошир, то его, вне сомнений, звали профессором Прохазкой.

И он известил столичный университет, что намерен провести открытую дискуссию на тему: «Как возникла наша Вселенная и что с ней сейчас происходит?» Легко догадаться, что его предстоящий приезд породил смятение у наших светил. Научный блеск иных стариков уже погасал, сияние других, помоложе, только разгоралось, но все они опасались, что в сверкающем пламени мятежных идей пражского профессора каждый потускнеет и потеряет уже завоеванный солидный облик.

Я пришел в актовый зал университета вместе со своей сокурсницей Аделью Войцехович.

Мне тогда казалось, что я в нее влюблен. Нет, Адель еще не была той красавицей, в какую потом превратилась. И она еще не выделялась нынешней роскошной укладкой салатных волос, так гармонирующих с блеском совершенно зеленых глаз. Разумеется, она и тогда была миловидна. И все же была скорей простушка, чем богиня. Ни особого интереса к науке, ни тем более научных успехов в ней отдаленно не угадывалось. Она говорила мне о родителях, о детских увлечениях, о местах, где родилась и училась, — какие-то леса и поселки возле древнего польского городка Ольштына; те места, по ее рассказам, были чем-то вроде маленького филиала райских угодий. В общем, кто знает нынешнюю Адель Войцехович, доктора и профессора астрономии, несомненного в будущем академика, тот и не поверит, что она могла быть такой, какой я ее знал, когда мы были студентами.

Мы явились за час до начала лекции, чтобы раздобыть хорошие места. Но не одни мы проявили предусмотрительность.

Зал был уже заполнен. Мы с Аделью осматривались в проходе: не углядим ли где свободного кресла? Нас окликнул невысокий, плотный — он уже и тогда начал полнеть — юноша:

— Друзья, идите сюда! Специально для хороших людей храним два местечка.

Он снял какие-то вещи, положенные на соседние кресла и свидетельствовавшие о том, что они заняты. Адель уселась рядом с ним, я поместился крайним в четверке. Полный юноша весело сказал:

— Кондрат, хочу познакомить тебя с нашими новыми друзьями.

— Мартын Колесниченко, будущий ядерщик. — Я протянул руку второму парню.

— Кондратий Петрович Сабуров, космолог, — представился тот.

Кондрат говорил на хорошем международном языке, общепринятым для знакомства, но, по русскому обычаю, называл отчество. Как древний аристократ, каким он, впрочем, не был, Кондрат гордился своим происхождением от сибиряков, в незапамятные времена покоривших дикий край. И он, надо сказать, знал те давние времена гораздо лучше нас и не упускал случая щегольнуть своими знаниями.

А я отметил в те минуты знакомства, что он сказал не «будущий космолог», а именно «космолог», хотя по годам еще не мог выйти из студенчества. Самоуверенность — его характерная черта; к любому своему намерению он относился так, словно оно уже осуществлено, и требовал такого же отношения от нас.

— Адель Януаровна Войцехович, будущий астроном, — сказала Адель, протягивая руку Кондрату.

Она, думаю, бессознательно подделалась под его манеру называть себя. Впоследствии она подделывалась под его прихоти сознательно и достигала быстрого успеха — этого умения у нее не отнять.

Полный юноша сказал:

— Теперь, когда ты познакомился с соседями, представь им и меня. — И, не дожидаясь, пока медлительный Кондрат отреагирует, он весело протянул руку Адели: — Адочка, я — Эдик Ширвинд, специальности не называю: пока не имею, а в будущем — не уверен, какая получится. Естественно, прошу любить и жаловать. Согласен даже на исполнение половины просьбы — только любить. Но в этом случае — крепко!

Мы смеялись. Так со случайной встречи на лекции приезжей знаменитости началась наша дружба. Возможно, для каждого из нас, не для одного Кондрата, было бы лучше, если бы этого знакомства не произошло. Но что было, то было. Предвидением грядущего никого из нас природа не одарила.

Эдик шутил, пока на кафедру не взошел Прохазка. В прошлом году он умер, и теперь его могут видеть на всех континентах: портреты его вывешены не только в университетах, но и в школах. Посмертного признания он удостоился. Но тогда мы увидели его впервые — зрелище из впечатляющих. Невысокий, но такой широкоплечий, что выглядел почти квадратным, огромная голова, а на голове чудовищная копна серых от густой седины волос, и каждая волосинка, как наэлектризованная, отталкивается от соседней и торчит самостоятельно, щеки впалые, как у смертно голодающего, нос вряд ли поменьше, чем у нашего Огюста Ларра, а в довершение пейзажа — именно этим словом сформулировал Эдуард впечатление от облика Прохазки — голосок, очень сильный, очень резкий и такой высокий, что, казалось, не проникал в наши уши, а пронзал их. Первые же слова профессора вызвали физическую дрожь — так непривычен был этот острый звук.

Я говорил, что каждому свойствен свой цвет. Профессор Прохазка был синим. Я видел ясно, что у него красноватые, как у индейца, щеки, это было далеко от синевы, но излучал он в синих тонах, он был всем в себе словами, мыслями, темпераментом — убивающе синим. Эдуард потом уверял, что в помещениях, где долго обретается Прохазка, чахнут мухи и гибнут комары. Он шутил, но в каждой шутке гранула правды.

Своеобразная известность Прохазки заставляла ожидать с первых же слов каких-то необычных утверждений. Но он начал с понятий, известных и школьнику. Он поведал аудитории, что в двадцатом веке ученые заинтересовались происхождением Большой Вселенной. И в том же двадцатом веке «согласились о нижеследующем» (и в этом выражении прозвучала свойственная Прохазке издевка): существовал-де некогда нерасчлененный сгусток материи, а вокруг безграничное пустое пространство. И вот неизвестно по какой причине первоначальный комок сверхплотной материи взорвался, и все его куски стали с бешеной скоростью разлетаться в безграничном пространстве. И часы истории Вселенной пошли. В первые мгновения взрыва почти вся взорвавшаяся материя превратилась в фотоны, то есть в свет. Таким образом, в начале Вселенной был свет — в резком голосе Прохазки снова прозвучала ирония. Фотоны быстро трансформировались в стандартные ныне протоны, нейтроны, электроны, позитроны, нейтрино и прочие частицы, а частицы стеснились в звезды и скопления звезд галактики. Галактики продолжали разлетаться от места взрыва, и которая была побойчей, убегала подальше, а медлительные отставали. Явление это назвали «расширением Вселенной в результате Большого Взрыва». Сосчитали даже скорость бегства галактик от места, где Первичный Взрыв наддал им пинка в беспредельное пространство. И обнаружили, что в дальнем далеке бесконечной Вселенной звездные беглецы так быстро мчатся, что уже подошли к скорости света — тремстам тысячам километров в секунду: воистину бег без памяти к границе физического бытия! А дальше, видимо, провал в бездну несуществования. Вот такой рисовалась в двадцатом веке Большая Вселенная: первоначальный взрыв и бешеное разбегание всей материи, а на бегу формирование нынешних звезд, галактик, скоплений галактик.

— Пока довольно тривиальная картина Вселенной, шепотом прокомментировал Эдуард начало лекции. — В общем, будь профессор студентом в нашем университете, ему поставили бы тройку. Со строгим указанием на нестрогость формулировок.

Прохазка, закончив почти веселое изложение разработанных в двадцатом веке космологических гипотез, перешел к их критике. Много слабых мест было у те теорий, по на них долго не обращали внимания, увлеченные красивой картиной Вселенского Взрыва. И главная слабость — загадка пространства. Ну, хорошо, имелась первичная глыба нерасчлененной материи, и та глыба, содержащая в себе все вещество мира, неведомо почему взорвалась и разлетелась в пространстве. А само пространство уже было? Или тоже возникло в момент взрыва? О физическом времени уже в двадцатом веке согласились, что до взрыва его не было, мировые часы стали отсчитывать секунды, минуты, годы, миллионолетия, лишь когда нынешняя Вселенная начала существовать. А загадку пространства игнорировали. Забыли, что еще великий Ньютон называл пространство «чувствилищем бога», указывая тем самым на особое его значение во Вселенной. Наличие пустого беспредельного пространства было величайшей тайной мироздания, и сколь долго этого не понимали?

Я пока излагаю то, что вам и без меня хорошо известно, с аффектацией возвестил Прохазка. А теперь обязан высказать мои собственные недоумения. Почему, я спрашиваю, никто не увидел того, что прямо-таки бросалось в глаза? Вещество таит пространство в себе, пространство же никакая не геометрическая пустота, а нечто вещественное — вот такого понимания требовала логика, но простого этого понимания не усвоили самые здравомыслящие головы. В головах зияла все та же абсолютная пустота — я говорю о восприятии пространства, а не о всем прочем содержимом голов. И в этой беспредельной пустоте бешено разлетались атомы, кванты, звезды, галактики... И ничто им не мешает мчаться к бездне, физическому пределу скорости. Ибо «убег» совершается в невещественной пустоте, а пустота сопротивления не оказывает.

— Кажется, начинает стучать кулаком по столу, удовлетворенно прошептал Эдуард. Столь развившаяся потом в Эдуарде любовь к научным скандалам в зародышевой форме была уже и тогда.

Прохазка перешел к сути своей теории. Уверен, что именно на той университетской лекции, на которой мы вчетвером присутствовали, он впервые высказал ее в полноте. И он торжественно объявил, что первоначальный Большой Взрыв полностью принимает, одновременно отказываясь, как и все его предшественники, от объяснения, почему материя взорвалась. Взорвалась — и все, душа из нее вон! Зато категорично отрицает тот характер Большого Взрыва, какой ему доныне приписывается. Взорвалась не материя, взорвалось, верней, вырвалось пространство. Первоначальное безмерно плотное вещество существовало не только вне времени, но и вне пространства. Все мгновенно народилось в тот удивительный момент: время, движение, объемы, расстояние, массы, плотности, силовые поля, заряды — в общем, все то, что мы сегодня называем физическими характеристиками объектов Вселенной. — Лихо, даже очень лихо! — пробормотал Эдуард. Никто из нас не отозвался. Гипотеза Прохазки была слишком серьезна, чтобы сопровождать ее ироническими репликами.

Итак, взрыв произошел оттого, что народилось пространство и разметало первоначальную массу, продолжал Прохазка. Вещество исторгалось, парило, дымило пространством — и разлеталось, и раздрабливалось в новосотворенных просторах. Не вещество мчалось в пустом беспредельном пространстве, а оно, только что нарожденное пространство, разбрасывало вещество, расширялось, стремилось к беспредельности. И в те первоначальные мгновения скорость новообразования пространства была столь исполински велика, что постороннему взгляду, если бы он существовал, показалось бы, что частицы вещества разлетаются одна от другой с быстротой света. А значит, сами частицы могли быть только фотонами, ибо один свет обладает максимальной скоростью. Вселенная в момент своего создания была неистовым, всепоглотительным светом, как справедливо считали космологи уже в двадцатом веке, неправильно, впрочем, интерпретируя это явление.

По мере выброса непрерывно исторгаемого из вещества пространства скорость его расширения падала, и это было равнозначно тому, что падает скорость частиц, — они превращались из фотонов в электроны и протоны, нейтроны и нейтрино. И появилась новая сила — мировое тяготение. Оно тоже родилось в момент Большого Взрыва. Пространство, разбегаясь, разбрасывало частицы вещества, тяготение стягивало их в кучи. И когда распирание пространства потеряло первоначальную неистовую быстроту, тяготение приступило к своей организующей роли — стало сгущать безмерные массы частиц в туманности, звезды и галактики. Так возникла современная Вселенная.

Пространство продолжает исторгаться из вещества, говорил Прохазка. И это означает, что Вселенная расширяется — в целом и в каждой точке, где имеется вещество. А нам воображается, что все объекты Вселенной отдаляются от нас благодаря собственной скорости разбега. Между космическими объектами взаимные их отдаления увеличиваются, но собственного бега нет, и звезды, и галактики отбрасывают одну от другой исторгаемое ими самими новое пространство. Еще в двадцатом веке заметили удивительный факт: чем дальше от нас звезды, тем они быстрей отдаляются. И никто не обратил внимания на несуразность: почему так неодинаковы скорости убегания разных звезд, ведь первоначальный Взрыв должен был наддать частицам одинаковое ускорение? Но если принять мою теорию, то парадоксы исчезают. Раз пространство одинаково везде новообразуется, то чем дальше объект от нас, тем больше между нами создается нового пространства, а это равнозначно тому, что у дальних объектов скорости удаления закономерно больше, чем у объектов близких.

И последнее, говорил Прохазка. Взрывное самоистечение пространства давно себя исчерпало. И видимо, интенсивность образования пространства продолжает падать, вещество все меньше и меньше исторгает его из себя. Это означает, что расширение Вселенной замедляется. В какое-то время вещество полностью растратит внутренние пространственные ресурсы. И тогда начнется обратный процесс — схлопывание Вселенной. Тяготение будет сжимать разрозненные массы, пока не сольет все вещество Вселенной в прежний сверхплотный комок. Вселенная возвратится к исходному пункту, где уже не будет ни пространства, ни времени, ни тяготения, ни выраженного в материальных частицах вещества.

— А потом новый Большой Взрыв создаст новую Вселенную, — не удержался от комментария Эдуард.

На этом Прохазка закончил. Правда, он еще демонстрировал на экране математические уравнения — они, естественно, свидетельствовали об абсолютной правоте его идей, — потом отвечал на вопросы и высмеивал оппонентов, такие тоже нашлись, — обычный ритуал его публичных выступлений.

Профессор принял букет ярких роз от покоренных слушателей и церемонно раскланялся.

Мы вчетвером вышли из зала.

3

Эдуард предложил погулять по университетскому парку — для остужения пылающих мозгов. Он говорил это всем, но глядел на одну Адель, и она за всех ответила согласием.

Не могу сказать, чтобы мне хотелось гулять в компании малознакомых людей, тем более что Эдуард слишком уж вызывающе кинулся в ухаживание за Аделью, не поинтересовавшись, нравится ли это мне. Он не сомневался, что ей-то понравятся комплименты, которыми он намеревался ее одарять, — и не ошибся. Я заметил, что и Кондрат не выразил прогулочного энтузиазма, он, кажется, даже хотел отказаться, чтобы в одиночестве поразмыслить о теориях Прохазки. Но я не мог оставить Адель наедине с Эдуардом и дружески взял Кондрата под руку. Кондрат посмотрел на меня удивленно. Он трудно сходился с людьми, и приятельские отношения у него надо было заслужить, а не запросто получить. Все же он молчаливо побрел с нами.

В парке творился отличный весенний вечер. Теплый ветерок шелестел листвой, перекликались птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику — Управление Земной Оси в последние годы трудилось без накладок. Но разве не все равно, сама ли природа приносит нам радостные дары, или ее вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой?

— Профессор малость заврался, — сказал Эдуард. — Малость — в смысле очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?

— На первой свободной скамейке, — сказал я.

В парке не одни мы «остужали пылающие мозги». По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо, на другом берегу, уже вне университетской территории, сиял широкими окнами Объединенный институт № 18. Адель подбодрила Эдуарда, ей показалось, что его вдруг одолела робость:

— Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается.

Робость относилась к разряду свойств, абсолютно неведомых Эдуарду Ширвинду. Он просто удобней усаживался на землю.

— Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под это самое... Прохазка не заблуждается, а завирается. А это вещи разные.

— Мне не показалось, что он очень путал, — заметил я.

— Он увлек вас широтой концепции. Заворожил, покорил, очаровал, восхитил. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях, такие подношения, словно он певец или музыкант, случались не только сегодня.

В отличие от Кондрата, да, пожалуй, и от меня, Эдуард был, конечно, умелый оратор. Я говорю «умелый», а не «прирожденный» или «блестящий» так точней. Словесными красотами он пренебрегал, разнообразием интонаций не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой, в этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось, проблема была из простейших — для несложного вычисления, что тут же и доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства еще больше, чем в первоначальные минуты взрыва. Ибо что было тогда? Комок разлетающегося вещества! А что сейчас? Огромный космос! И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет. Сколько же надо и сегодня превращать материального вещества в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлет?

Меня Эдуард убедил, хоть я старался подобрать контрдоводы. Как и многие люди — особенно если оппонент неприятен, — я не так даже стремился вдумываться в его аргументацию, сколько подыскивал возражения. В тот вечер Эдуард меня весьма раздражал, но убедительного опровержения я не придумал.

А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не вязалась с обсуждением научной проблемы. Прошел не один год, пока я стал если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое еще обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шел гораздо дальше. Кондрат защищал не Прохазку, а новые свои идеи, они были бы неверны, если бы был прав Эдуард.

— Вздор! — раздраженно крикнул Кондрат. — Чушь и чепуха! Скорость создания пространства не может расти! Прав Прохазка, а не ты.

— Возможно, прав Прохазка, а по я, — сказал Эдуард. — Но, друг мой Кондратий, зачем орать об этом на весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно, чепуха ли и вздор...

— Я уже сделала вычисление, — прервала его Адель.

Еще когда Эдуард доказывал, что Прохазка ошибся, Адель достала из сумочки карманный калькулятор. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления: «Не будем спорить, будем вычислять!», то им была именно она, пока еще простушка, пока только миловидная, а не красавица, только будущий астроном, а не светило космологии, наша зеленоокая, салатноволосая Адель Войцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далеких окон Объединенного института № 18 давало вдосталь света для игры на клавишах карманного калькулятора.

Адель объявила:

— Исхожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в один кубический сантиметр расширяется в год на один сантиметр, помноженный на пять в минус десятой степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около пятидесяти миллиардов лет.

— Между тем возраст Вселенной определяется нынче всего в двадцать миллиардов лет, — сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору.

Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду:

— Теперь ты понимаешь, что нынешняя скорость расширения космоса не годится для Большого Взрыва? Тогда выброс пространства разбрасывал материю со световой скоростью, отчего она и превращалась в фотоны. Категорически настаиваю на этом!

Эдуард снисходительно улыбался.

— Если категорически настаиваешь... Не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат.

— Важно! — отрезал Кондрат.

Не один день прошел, пока мы поняли, как воистину важно было Кондрату в этом споре оказаться правым.

Бурная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции Прохазки. Да и поздно уже было. Кондрат пожал мне и Адели руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард пообещал догнать его, небрежно тряхнул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал, что поражен ее пониманием трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кондрата — побежал, а не просто поспешил за ним.

— Замечательные люди! — горячо сказала Адель.

— Что ты заметила в них замечательного?

Она не уловила моей иронии.

— Все, Мартын! Умные, остроумные. И такие друзья!

— Особенно чувствовалась дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда.

Ирония наконец дошла до нее, а ума ей было не занимать.

— Скажи, а ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда?

— Только если бы он смертельно оскорбил меня.

— И ты, думаю, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали?

— Нет, конечно.

— Вот видишь. А Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается, и есть доказательство дружбы, для которой подобные вспышки — мелочь.

Я промолчал. Она добавила:

— Но главное не их дружба. Мало ли кто с кем дружит! Мы с тобой тоже друзья. Они живут наукой! Наука у них — самое важное в жизни. Я бы хотела укрепить наше знакомство. Ты не возражаешь?

— Ты знаешь, Ада, твои желания для меня закон.

Я говорил искренно. Но жестоко бы соврал, сказав, что меня обрадовало ее желание. Умных парней хватало в университете и без этих двух. И меня огорчили ее слова, что мы с ней друзья. Сколько раз она доказывала мне, что мы больше, чем просто друзья! Я предугадывал, что новое знакомство внесет разлад в наши отношения. Перед входом в студенческую гостиницу я предложил подняться ко мне, она отказалась:

— Не сегодня. Мартын. У нас с тобой впереди целая жизнь.

Впереди точно была целая жизнь. Но общей жизни уже не было.

Ни она, ни я этого еще не понимали.

4

Так я вспоминал начало нашей общей дружбы, кутаясь в плащ под дождем на берегу институтского озера. Уже наступила ночь, на другом берегу темнело здание университета, наша ласковая «альма матер», наша «мать кормящая», где мы учились, где приобретали и теряли любимых, где из пытливых «сосунков науки», как мы сами себя тогда окрестили, постепенно превращались в мастеров мысли и знания.

Я рассердился на себя. Не о том думаю! Единственно важное красочный, бурноречивый Клод-Евгений Прохазка, его тогда еще мало кем признанная, теперь узаконенная теория Большой Вселенной. Именно из парадоксальной теории пражского профессора, из идеи непрерывного умножения мирового пространства и родилась работа Кондрата Сабурова, возникли все мы — «призовая четверка ошалелых гениев», как обозвал нас однажды Карл-Фридрих Сомов, потребовавший от меня сегодня анализа горестного финала столь блестяще начатых исследований. Истоки несчастья были в космологических теориях Прохазки, надо было размышлять о них, а я видел Адель и не хотел вникать в то короткое, так быстро ею проделанное на карманном компьютере вычисление, хоть и знал теперь, что существенно важным было оно, это маленькое вычисление, а вовсе не внешний облик Адели, ее зеленые глаза, шелест ее платья, запах ее духов, дразнящий смутными ароматами гвоздики, яблок и ананасов. «Твои духи так аппетитны, что ими можно насыщаться. Какое-то сладостное попурри из плодов и цветов!» сымпровизирует однажды Эдуард и будет часто со смехом повторять свою не то остроту, не то комплимент. «У нас с тобой впереди целая жизнь», — сказала она, прощаясь. И, я понимаю, сказала это, в общем-то, не для меня, а для себя самой, ибо чувствовала, что знакомство с двумя новыми студентами станет барьером для наших с ней отношений. Я не жалуюсь и не огорчаюсь. Наша любовь возникла случайно, распад ее совершился закономерно.

— Опять не о том! — упрекнул я себя. — Адель да Адель! Не превращай свои личные неудачи в причину научных просчетов. Думай о Прохазке, думай об идеях Кондрата, такое тебе задание.

Задание было ясное. Но ясно было одно: все темно! И загадка была, конечно, но в Адели. Однако не думать о ней я не мог. Столько лет после я равнодушно смотрел на нес, спокойно с ней разговаривал. Но в тот вечер, когда мы слушали лекцию Прохазки, Адель была важной частью моего существования, и потому в воспоминании о том вечере она вдруг стала для меня важней и Прохазки, и Кондрата, и Эдуарда, и всех наших дел. И я как бы вновь ходил вдоль общежития, смотрел на ее освещенное окно. Почему она так долго не гасит свет, почему не ложится, может, чувствует, что я еще здесь, внизу, может, раскроет окно и выглянет? Свет горел долго, вероятно, она читала в постели, потом окно погасло.

— Вот так и кончилась твоя любовь, — сказал я себе и рассмеялся. Никто в окно не выглянул, и ты пошел спать.

И помнится, спал хорошо. Любовные неудачи никогда не нарушали твоего спокойствия, немного подосадуешь, и все. Будешь теперь думать о буйном профессоре из прекрасного города Праги? Или вспомнишь пословицу предков: «Утро вечера мудреней»?

Я направился домой.

Утром я пошел в Лабораторию ротоновой энергии. И перед закрытой дверью остановился.

Ровно год я не переступал порога этого одноэтажного над землей, многоэтажного под ней здания. Действует ли мой шифр? В час нашей последней ссоры Кондрат гневно кричал: «И не смей приближаться к лаборатории! Я вычеркиваю твой шифр из памяти компьютера, как вычеркиваю облик из моей памяти!» В ярости он перебирал в угрозах — в лаборатории хранились мои вещи, он не мог запретить мне прийти за ними. Но я не пришел, я все бросил, перечеркнул прошлое навеки, как мне казалось. И я не захотел проверить, так ли абсолютен запрет. А потом был взрыв — сожженные генераторы, гибель Кондрата... Возможно, никакие шифры теперь недейственны. Придется тогда просить разрешения на принудительное открытие дверей. Так, наверно, входили в лабораторию члены следственной комиссии: ведь ни у кого из них не было личного шифра входа.

Долгую минуту я рассматривал массивную дверь. Никаких следов повреждений! Та же угрюмая поворотная махина, какую шесть лет я ежедневно созерцал, ежедневно же возмущаясь, что на вход приходится тратить сорок секунд, бесценные сорок секунд, которые можно использовать куда эффективней, чем на лицезрение тупой броневой плиты. А когда я говорил Кондрату, что он отделился от внешнего мира слишком неповоротливыми механизмами, он ухмылялся: «Зато надежными, Мартын. Кстати, зачем ты пялишь глаза на дверь? Думай о своих делах, пока компьютер высчитывает, достоин ли ты входа». Он считал, что каждый способен так самозабвенно предаваться размышлениям, как он. Эдуард уверил, что как-то дверь открылась, побыла открытой, потом снова закрылась, а за ней стоял Кондрат, который настолько задумался, что забыл переступить порог.

Без уверенности, что механизмы работают, я положил левую руку на пластинку в небольшом углублении. Ничто не показало, что линии моей ладони прочитаны. Впрочем, и раньше все совершалось без шума, только Адель с ее слухом летучей мыши различала какие-то там подрагивания и поскрипывания, до меня они не доходили. Я поглядел на часы, секунды плелись еще медленней, чем при Кондрате. Стрелка проползла цифру сорок, входа но было. Я еще постоял секунд пять и повернулся уходить. Но на пятидесятой секунде дверная плита задвигалась, я поспешил вернуться, раньше вход открывался только на десять секунд, сейчас могло быть и того меньше. Переступив порог, я вновь взглянул на часы. Дверная плита, закрылась через одиннадцать секунд. Все было, как до моего ухода из лаборатории, лишь чуть замедленней — возможно, последствия взрыва. И шифр мой действовал, Кондрат не стер его из памяти компьютера. Я еще по знал, почему он не выполнил своей угрозы, но мне это было приятно.

Я вынул из кармана два датчика мыслеграфа и закрепил их за ушами. Теперь все, о чем я подумаю, что увижу, услышу, даже все, что почувствую, будет зафиксировано на бесстрастной пленке моего личного самописца. В помещениях вспыхивали светильники, я переходил из комнаты в комнату. И здесь все было на своих местах, все было цело. Как будто и не произошло взрыва, и никто не погиб, лишь временно прекращены работы. Перед комнатой Кондрата я остановился. Мне не хотелось в нее входить, но входить было нужно. И в ней ничего не переменилось — стол, два стула, диван, компьютер с дисплеем, шкаф для документов, шкаф для приборов и приспособлении. Над столом четыре портрета — Ньютона, Эйнштейна, Нгоре и Прохазки. На стене против дивана Ферми и Жолио. Кондрат редко бывал в своей комнате, он любил ходить, а здесь не хватало простора. Внизу, в обширных подвальных помещениях, среди тесно сомкнувшихся механизмов он чувствовал себя свободней — одна из тысяч его странностей. Впрочем, для этого поразительного человека наиболее странным было, когда он становился похожим на других.

Я заглянул в комнаты Адели и Эдуарда, но не стал в них задерживаться. Даже духа бывших хозяев не ощущалось в этих самых роскошных помещениях лаборатории. Еще при мне Кондрат с яростью выметал, выбрасывал, выскребывал все, что хоть отдаленно напоминало о ней и о нем. Сам он сюда никогда не заглядывал, мне эти комнаты были не нужны, только компьютер порой включал автоматические пылесосы. «Что же осталось в моей комнате?» думал я. Ведь ссору со мной Кондрат переживал сильней, чем разрыв с Аделью и Эдуардом.

Пораженный и растроганный стоял я посреди своей комнаты. Ничего не изменилось в ней. Будто я не год назад, а только вчера покинул ее. Если бы сюда заходил посторонний, он непременно что-нибудь изменил бы и переставил: стул, стоявший боком к столу, так и просился придвинуть его поаккуратней, настольная лампа — я любил это древнее световое приспособление — по-прежнему торчала на краю стола. Я всегда ставил ее на самый край, чтобы побольше было на столе свободы, — коснись кто неосторожно, вмиг упадет. Нет, не упала, не сдвинута к середине. Я сел за стол, выдвинул ящик — там, на кучке бумаги, лежал наискосок мой калькулятор. Хорошо помню, что бросил его именно наискосок, времени не было поправить. Вот он лежит, придавив своей тяжестью легкие пластиковые листочки, ни разу за год моего отсутствия его не коснулась чужая рука...

И хотя ничего в моей комнате не изменилось, я не ощущал в ней заброшенности. Ничто не свидетельствовало, что ее посещали, но я сразу уверовал, что Кондрат в ней бывал: входил, пересекал по диагонали, останавливался, осматривался и уходил — так случалось, когда я в ней работал, так происходило и после нашего разрыва. Только Кондрат мог двигаться в этой небольшой комнатушке, ни до чего не дотрагиваясь. Нет, здесь не было уважения ко мне, скорей уж мщение: вот ты ушел, мне трудно без тебя, так смотри — ничего не беру, ничего не меняю, все твое, твое! Тебя нет — есть недобрая намять о тебе! С Аделью и Эдуардом он вел себя по-иному.

Я достал из стола чистый журнал для записей и на первой странице вывел заглавие: «Лаборатория ротоновой энергии. Создание и гибель замысла».

Тема теперь была обозначена ясно. Оставалось расчленить ее на важнейшие события и каждое исследовать особо. Кондрата, будь он жив, взбесила бы моя педантичность, он выходил из себя всякий раз, когда я разрабатывал методику очередного эксперимента. Он привык скакать через ступеньки. Ему это удавалось. Но я не обладал его чудовищной прозорливостью. Историю исследований Кондрата я мог описывать лишь шаг за шагом, а не теми гигантскими прыжками, как она реально мчалась к трагическому финалу.

И я вывел на второй странице:

Основные ступеньки движения

1. Знакомство на лекции профессора Прохазки.

2. Туманные идеи Кондрата Сабурова.

3. Содружество четырех. Идеи проясняются.

4. Диплом и назначение в Объединенный институт № 18.

5. Лучезарный Огюст Ларр и зловещий Карл-Фридрих Сомов.

6. Лаборатория ротоновой энергии получает первое признание.

7. Женитьба Сабурова и бегство Ширвинда.

8. Эдуард Ширвинд возвращается.

9. Карл-Фридрих Сомов ставит палки в колеса.

10. Сабуров обнаруживает ошибки в своей теории.

11. Измена Адель Войцехович и Эдуарда Ширвинда.

12. Изгнание Мартына Колесниченко.

13. Взрыв.

— Отличная программа! — произнес за моей спиной насмешливый голос. Если не ошибаюсь, друг Мартын, вы собираетесь писать детективный роман в древнем стиле — таинственные преступления, любовные страсти, злобные противники и прекраснодушные покровители... Не так?

Я вскочил. Позади стоял Сомов. Его глубоко посаженные глаза горели, широкое лицо кривилось в усмешке. Он наслаждался, словно поймал меня на скверном поступке, которого заранее ожидал. Я возмутился:

— Кто дал вам право вторгаться в мою комнату? Я не посылал разрешения на вход.

Усмешка слетела с его лица, как сдернутая маска. Теперь он глядел холодно и хмуро. Тысячи раз я видел его таким.

— Обращаю ваше внимание на две ошибки, друг Мартын. — Голос звучал бесстрастно и отстраняюще — тот «желтый» голос, каким он разговаривал с подчиненными. Во всяком случае, со мной — всегда. — Первая: заместителю директора института не требуется иного разрешения на вход в любую лабораторию, кроме его личного шифра. Вторая: эта комната не ваша, а бывшая ваша. Если вы того пожелаете, она снова станет вашей. Но вы такого желания пока не высказывали.

Во мне все сильней закипал гнев.

— Даже положение заместителя директора не дает право высматривать через мое плечо, что я пишу.

— Третья ошибка. Я не заглядывал вам за плечо. — Он показал на дисплей настольного компьютера, на нем сияла исписанная мной страница. Советую в другой раз использовать старинные карандаши, а не современное стило, переносящее каждую букву на экран. Укажу и на четвертую ошибку. На дисплее изображена программа расследования катастрофы: именно то задание, которое мы с Ларром вам предложили. Стало быть, нет вины в том, что я случайно с ней познакомился.

Я взял себя в руки.

— Все логично. У вас есть замечания к программе?

— Пока стилистические. Лучезарный Огюст, зловещий Карл-Фридрих, бегство Ширвинда, измена, изгнание... Не слишком ли много цветистой старины даже для любителя старого стиля? Например, вот это: «ставить палки в колеса»! Колесный транспорт можно увидеть только в музеях. К чему в век ракет и антигравитаторов такие древние термины?

— Хочу доказать, что и в наш век антигравитаторов иные старинные выражения точно отражают реальность.

Он сел, не дожидаясь приглашения.

— Ваше право. Как вы догадываетесь, я пришел не для того, чтобы вычитывать с дисплея предварительную программу вашего расследования. Будет день, вы сами доложите мне методику поиска.

— Результаты, а не методику, — поправил я. Сомов многого хотел. Наши личные отношения, сколь ни важны они были для Кондрата и меня, Карлу-Фридриху Сомову раскрывать я не собирался.

Он пожал плечами.

— Границы установите сами. Я не любитель старинных детективов, так что с этой стороны можете оставаться спокойным.

— Итак, вы пришли сюда ради того, чтобы... — напомнил я.

— Совершенно верно: чтобы вручить вам эту папку с документами лаборатории.

Он протянул толстый пакет, который держал в руках. Я сказал:

— Разве я не говорил вам с Ларром, что отчет комиссии, расследовавшей катастрофу, и личные дневники Сабурова меня пока не интересуют? Я обращусь к ним, когда стану сверять свое мнение с официальными выводами.

— Вот, вот! Пусть все эти документы будут у вас под рукой, когда понадобятся. Кстати, здесь не только доклад комиссии и дневники Сабурова, но и рабочие журналы лаборатории. Без них вы вряд ли восстановите в памяти все детали экспериментов.

Я положил пакет на стол. Было что-то раздражающее в настойчивости, с какой Сомов стремился заранее воздействовать чужими мнениями на мое не сложившееся пока собственное мнение.

— Кажется, вас беспокоит, что мое заключение будет сильно отличаться от того, какое вы хотели бы получить?

Он хладнокровно снес мой выпад.

— Почему вам так кажется?

— Ну знаете, Карл-Фридрих!.. Наши с вами отношения никогда не были дружескими. Эдуард острил, что если всюду, где вы говорите «да», поставить «нет», то будет сносно. Но до этого с вами трудно.

— Ширвинд хорошо острил, мне часто нравились его шутки. И отношения с вашей блестящей четверкой могли быть лучшими, чем реально были. Но какую это имеет связь с сегодняшней беседой?

— А ту, — резко сказал я, — что мы всегда были вам нежеланны в институте. И особенно был неприятен я. Разве вы не жаловались на мою бесцеремонную прямоту еще больше, чем на грубость Кондрата? И сомневаюсь, что вам нравились остроты Эдуарда! Уверен, что из всех кандидатур в расследовании трагедии с ротонами моя — самая для вас неприемлемая. Могу представить себе, какой нажим оказал директор на вас, чтобы вы согласились привлечь меня, а не другого.

— Вашу кандидатуру предложил я, а не Ларр, — холодно возразил он. — И могу информировать, что он согласился только под моим нажимом.

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что ожидал такого признания. На какую-то минуту я растерялся. Сомов пристально и спокойно глядел на меня.

— Все-таки, думаю...

Он прервал:

— Будет еще время разобраться во всех «почему» и «отчего». Сейчас вы знаете, что я сам пожелал вашей кандидатуры, и это облегчит мою просьбу к вам.

— Вы сказали — «просьбу»?

— Я сказал — «просьбу». Она такова. Со временем ваши выводы станут известны всем. Но пока они не отлились в окончательную форму, не делитесь своими соображениями ни с кем. Особенно с вашими друзьями Войцехович и Ширвиндом. Они, вы сами понимаете, пристрастны.

Я снова сделал ошибку. В этот первый день расследования мне предстояло непрерывно ступать на тропки, уводящие от истины.

— Я толкую ваши слова, Карл-Фридрих, что посвящать в свои предварительные соображения я должен только Ларра и вас?

— Вы неправильно толкуете мои слова, друг Мартын. Только меня. Академик Ларр относится к тем, кого нельзя знакомить с фактами, не получившими завершенной оценки. И скажу откровенно: я настаивал на вашей кандидатуре не только потому, что вы лучше всех знаете ротоновую лабораторию, но еще и потому, что с вами надеялся легче, чем с другими, достичь такой договоренности.

— Карл-Фридрих! Что кроется за вашими странными просьбами?

— Только одно. Огюст Ларр — выдающийся энтузиаст чистой науки. Но я опасаюсь, что в вашем расследовании обнаружатся обстоятельства, весьма далекие от специфических научных задач. Зачем подвергать испытанию глубокую мысль и чуткую совесть нашего руководителя?

Нет, решительно в этот день мне суждено было нагромождать одно заблуждение на другое!

— Это звучит так, словно вы опасаетесь раскрытия каких-то преступных действий, задевающих вас лично!

— Преступных действий? И задевающих меня лично? Уж не подозреваете ли вы, что какие-то мои административные решения вызвали взрыв в лаборатории?

— Во всяком случае, не буду поражен, если обнаружится что-либо похожее. Вы столько мешали нам, столько...

— Ставил вам палки в колеса, так? — Он кивнул на дисплей, там еще сияла моя программа. Я резким нажатием кнопки погасил экран. — Что ж, исследуйте и это, друг Мартын.

— Не премину, — с вызовом отозвался я. Впервые он улыбнулся. В улыбке было больше печали, чем сарказма. Что-что, а печаль мало соответствовала его характеру.

— Вот видите, вы уже сами готовы признать, что в трагедии могут появиться побочные к науке обстоятельства. Это меня устраивает. Для полноты укажу вам еще одну тему из таких побочных. Имею в виду вашу личную роль в лаборатории.

— Вы, кажется, считаете, что я причастен к взрыву?

— А почему бы и нет? Вы глубже всех разбираетесь в специфике ротоновых исследований, вы были близким другом Сабурову... И вы поссорились с ним, да еще так, что и слышать не хотели о ротонах, создали собственную, принципиально иную лабораторию. Сабуров, вы это сегодня сами узнали, не отменил вашего входного шифра, он оставил вам возможность возвращения, но вы возненавидели его лабораторию и его самого. Отсюда один шаг до мщения. Логическая цепь, не правда ли?

Я засмеялся. Мой смех звучал, наверно, невесело.

— И вы верите в правдоподобность этой любопытной цепи?

Он встал.

— Я верю, что вы исследуете и эту логическую цепь и доложите мне первому выводы, к каким придете. У меня нет причин сомневаться в вашей человеческой и научной честности.

Сухо кивнув, он ушел.

5

Многое мог я вообразить, только не то, что меня самого можно заподозрить в причастности к катастрофе. И самым, вероятно, удивительным было, что логика в таком подозрении имелась. Наша ссора с Кондратом прямо наводила на такую мысль. Я вдруг понял, каким искаженным может выглядеть мой уход из лаборатории. И я не мог опровергнуть такое искажение. Не объявить же: Кондрат стал непереносим, потому я и покинул его. Звучало бы слишком уж по-детски. Я сам в ходатайстве об уходе указал иную причину: охладел к ротоновой тематике, хочу поэкспериментировать в другой области. Ларр с Сомовым понимали, что причина не в охлаждении к ротонам, а в чем-то более важном. Но в чем? Сомов только что объяснил: испугались-де, что эксперименты ведут к катастрофе, и заблаговременно сбежали. И я не могу возмутиться, не могу на оскорбительное подозрение ответить оскорбительной дерзостью, ибо реально не было серьезной причины для моего ухода из лаборатории! Прав, нрав сухарь и недоброжелатель Карл-Фридрих Сомов, он точно нащупал больную точку, безошибочно ударил в нее. Он сообразил, что сам я неспособен оценить свои поступки, и предлагает взгляд со стороны вот эти официальные отчеты, рабочие журналы да в придачу дневники Кондрата, такие же путаные и пристрастные, каким был Кондрат, какими мы оба с ним были.

Я положил в ящик стола принесенный Сомовым пакет.

— Не удалась ваша подсказка, дорогой Карл-Фридрих, — сказал я вслух. — И не удастся! Понимаю, понимаю вашу цель! Представить трагедию если и не в (светлых одеждах, то хотя бы как благородный научный риск. Даже вызовет уважение — ах как опасна их работа на наше общее благо, вот они, герои науки, благоговеть перед ними! Нет, Карл-Фридрих, слишком уж элементарная задумка! Хотите знать правду? Правда в том, что я понятия не имею, какова правда. Но постараюсь узнать. Это единственное, что обещаю. — Я включил дисплей. На экране снова засияла намеченная мной программа. — Итак, встреча четырех на лекции Клода-Евгения Прохазки. Слушаю себя. Что еще скажешь о Прохазке?

Но мне нечего было говорить о Прохазке, кроме того, что существовал такой научный скандалист, невысокий, почти четырехугольный, дико лохматый, крупноносый, толстогубый человечище. И что он приехал в нашу прекрасную Столицу из древнего города Праги и мощнотрубным голосом крушил с университетской трибуны фундаменты космологии. И что мы, четверо юнцов, были покорены и красочным обликом профессора, и громоподобным его голосищем, и яркостью революционных теорий. И что космогоническая теория Прохазки наконец стала общепринятой, а сам он умер вскоре после того, как ему поставили в его родном городе первый памятник.

— Вот и все, что я знаю о великолепном научном буяне, — сказал я вслух экрану. — Что там следующее? Туманные идеи Кондрата? Но ведь если они туманные, что-либо ясного о них не сказать.

Я закрыл глаза и задумался. Закрытые глаза мало помогали мысли, но так лучше вспоминалось прошлое.

...Я шел по университетскому парку. На свободной скамейке сидел Кондрат. Я присел рядом, он недоброжелательно посмотрел на меня. Я решил это перетерпеть. На всякий случай сказал:

— Мы недавно познакомились. Вас зовут Сабуров, верно?

— Кондратий Петрович Сабуров, — ответил он хмуро. — А вы парень этой... Клавдии Войцехович?

— Адели, а не Клавдии. Нет, я сам по себе, а не чей-то. Надеюсь, возражений не будет?

— Ну и оставайтесь сами по себе, мне какое дело, пробурчал он и отвернулся.

В парке весна преобразовывалась в лето. Время шло к полудню. В вышине торчали неподвижные золотые тучки, и от этого все небо казалось золотым. Вспомнились две строчки древнего поэта: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи». Мне никогда не приходилось видеть черных роз, и я не знаю, что такое Аи — просто лимонад или покрепче, но насчет неба поэт не ошибся, оно сегодня было таким.

— Почему вы молчите? — вдруг с негодованием спросил Кондрат.

— Вы тоже молчите, — огрызнулся я. На возражение умнее я не нашелся.

— Я размышляю.

— Вы считаете, что размышлять свойственно только вам!

— Ничего вы не размышляете! — Он все больше сердился. — У вас пустые глаза. Вы любуетесь небом и цветами, вот что вы делаете! Это даже слепой увидит.

— А вы, естественно, не слепой. Если хотите, чтобы я ушел, скажите прямо. Не буду навязывать своего присутствия.

— Я не гоню, оставайтесь.

— Благодарю за разрешение. Какие еще веления?

В нем совершилась перемена. Потом я привык к скачкам его настроения, но в тот день удивился. Кондрат произнес очень дружески:

— Послушайте, помогите мне. Вы сможете.

— А какого рода помощь?

— Простая. Нужно совершить одно великое открытие. Оно у меня на языке, но никак не формулируется. Помните вашу Адель?

— В каком смысле надо ее помнить? Я с ней дружу уже несколько лет. Но она, между прочим, не моя, а тоже своя собственная. И очень своя, могу вас уверить.

— Это хорошо. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили ее маленькое вычисление. Поразительный результат, не правда ли?

Мне показалось тогда, что я понял нового знакомого. Этот сумрачный верзила с таким переменчивым настроением, видимо, не знает меры в оценках: какую-то — несомненно мелковатую — идею называет великим открытием, да еще уверяет, что совершать великие открытия очень просто. А в примитивном арифметическом подсчете обнаружил поразительные результаты. Я постарался, чтобы моя ирония дошла до него.

— Адель непрерывно что-нибудь вычисляет. Для этого она и носит крохотный компьютер в сумочке. Вычисление — рабочая площадка астронома-теоретика. Разве вы этого не знали?

Он нетерпеливо отмахнулся.

— Знаю, знаю! И что она готовится в теоретики. И что вы тоже... это самое... ядерщик! Я говорю о расчете, что она сделала на лекции Прохазки. Все думаю и думаю о нем.

— И в результате этих дум пришли к великому открытию?

Ирония до Кондрата не дошла. Насмешки его не брали. Он был слишком глубок, чтобы замечать такие мелочи, как издевка или зубоскальство. Человек, лишенный чувства смешного, — вот таким он был. Он сказал с какой-то только ему свойственной задумчивой рассеянностью:

— Любой комочек вещества рождает пространство. И ваша Адель подсчитала, что для удвоения объема потребуется примерно пятьдесят миллиардов лет, в два раза больше, чем возраст нашей Вселенной. Вас это не потрясает?

— Нисколько. Я не уверен в точности вычисления.

— Приблизительно верно, я проверил. Да и какое это имеет значение один миллиард лет больше, один меньше! Вы не согласны?

Мне было совершенно безразлично, сколько миллиардов лет потребуется для удвоения объема любого предмета, тем более объема космоса. Земное бытие эти фантастические цифры не затрагивали. К тому же я шел в ядерщики, а не в космологи: проблема была вне моей специальности.

Кондрат вслух размышлял:

— Пятьдесят миллиардов лет на удвоение объема... Но объем мирового космоса с момента Первичного Взрыва увеличился не вдвое, а в миллиарды, в миллиарды миллиардов раз! Ведь из этого следует, что образование пространства ныне идет значительно медленней, чем в момент рождения Вселенной. Вот почему основная материя в мире состоит уже не из света, не из фотонов, а из вещественных частиц — протонов, нейтронов и прочего. Вселенная все тускнеет и тускнеет, разве не так?

— Вы уже высказывали эту идею своему приятелю Эдуарду, — напомнил я. — В этой печальной идее и заключается ваше великое открытие? Я имею в виду непрерывное потускнение Вселенной.

— Почему печальная? Нормальная, а не печальная. Нас не должно огорчать падение дозы света в большом космосе.

— Меня, во всяком случае, не огорчает. На миллиарды лет существования я не рассчитываю. Удовлетворился бы ста годами, а на это время света в мире хватит. Так в чем ваше великое открытие?

Нет, до него решительно не доходила ирония! Он сказал:

— Пока не открытие, только идея открытия. И по-настоящему великого, вы в этом сейчас убедитесь. Слушайте меня и не прерывайте. Терпеть не могу, когда перебивают. Итак, скорость образования пространства непрерывно падает. Но если она способна меняться, то может не только падать, но и убыстряться. Вот если бы наддать ускорения созданию пространства!

— Вам мало простора в сегодняшнем космосе? — все же прервал его я. Или хотите сотворить новый Большой Взрыв во Вселенной?

Он гневно махнул рукой. Доброе настроение вмиг превратилось в раздражение.

— Не говорите глупостей, Мартын! Ведь вас Мартыном, верно? Зачем мне устраивать вселенские взрывы в космосе? Но небольшой, хорошо контролируемый взрыв пространства в лабораторном масштабе, внутри специального механизма!.. Неужели вас не прельщает такая идея?

— Я ее не понимаю, — сказал я, поскольку тогда и вправду даже отдаленно не постигал, на что Кондрат замахнулся. Но что слушаю не бред, а нечто заслуживающее внимания, уже соображал. — Зачем вам взрыв пространства внутри небольшого лабораторного механизма?

И его охватило вдохновение. Он не высказывался, а исторгался. Немногословный, быстро раздражающийся от того, что его плохо понимают, а сам он мало способен популяризировать себя, Кондрат в ту нашу встречу был захватывающе красноречив. И он не кончил своей речи, как я был полностью убежден. Больше чем убежден — покорен.

О чем он говорил? Сейчас я не мог бы точно передать его слова. Мне вспоминается озаренное лицо, глубокий, глуховатый голос. Но не сомневаюсь, что он ужо тогда говорил о том, чем спустя несколько лет мы стали заниматься вчетвером. Использование энергии, образованной в атомном ядре заново создающимся пространством, так впоследствии, тяжело и невнятно для непосвященного, он сам назвал свою идею.

— Мартын, какой мы построим механизм для вычерпывания энергии из вакуума! — говорил Кондрат. — Древняя мечта о вечном двигателе покажется мелким пустячком рядом с нашими гигантскими генераторами!

Вот такой он был. Любая идея казалась ему уже осуществленной, раз уж она засела в мозгу. Он был одарен великой способностью открывать, но равноценной способности претворять ему дано не было. Интуитивно понимая это, он отыскивал и создавал помощников и вскоре превращал их в почитателей и преданных научных слуг. Такими были мы трое — Адель, Эдуард и я. Правда, каждый только до поры до времени.

А в тот день, как ни был я сам увлечен, все же постарался вылить ведро холодной воды на его разгоряченную голову.

— Интересно, Кондрат, интересно и значительно. Но ведь это только идея открытия, а не само открытие. И довольно туманная идея, доложу вам.

Он нехотя согласился:

— Да, пожалуй. Добавлю, однако: пока туманная. Когда мы засядем за расчеты? По-моему, сегодняшний вечор вполне пригоден для начала.

— Ни сегодня, ни завтра, — сказал я. — Еще не знаю, гожусь ли для такой работы, если даже найдутся свободные вечера и дни.

Кондрат пропустил возражение мимо ушей. Он умел не слышать того, что ему не нравилось.

— А четвертой будет ваша подруга... Адель. Я правильно называю? Надо бы с ней встретиться. Вы проведете меня к пей?

— В любое время. Вы сказали, Адель — четвертая. А кто третий? Считая, что первый вы, а второй — я, хотя это не бесспорно.

— Третий — Эдик. Эдуард Ширвинд, вы его знаете. Он, пожалуй, легковесен. Зато хорош в критике неудач. Нам он пригодится.

Даже мысли такой ему не явилось в голову, что кто-то из нас троих откажется идти к нему в помощники!

6

Адель не обрадовалась появлению Кондрата. Она готовилась к экзаменам по небесной механике. Курс был трудный. «Небесный механик» — старичок очень ученый и педант — спрашивал строго, а у Адели была расточительная привычка все экзамены сдавать только на «отлично».

— Друзья, вы выбрали неудачное время. Давайте встретимся через несколько дней.

Я поднялся уходить. У нас с Аделью уже шло к разрыву, только мы оба еще не знали этого, нам казалось, что трудная экзаменационная сессия единственная помеха к продолжению ежедневных встреч. Но Кондрат остановил меня. Он не мог уйти не высказавшись. Что Адель не способна внимательно слушать, его не смущало. Она должна слушать, раз он того пожелал: идея, какую он выскажет, несравненно важней всех ее экзаменов — и сегодняшних, и будущих.

И он высказался. Без того вдохновения, каким воздействовал на меня, зато короче. Не думаю, чтобы новизна его идей захватила Адель. Но, в отличие от него, она была хорошо воспитана.

— Очень интересно, Кондрат. Я, конечно, смогу помочь вам как вычислитель. Но только после экзаменов.

Она сказала это так категорично, что Кондрат потускнел. С Аделью он вообще был сдержанней, чем с нами, — первое время, естественно, надолго скудных запасов его тактичности не хватало. Он ушел, а я задержался у Адели. Она со смехом сказала:

— У нашего нового знакомого есть божество, которому он поклоняется. Это божество — он сам. Заботы других ему безразличны.

Я уже немного глубже разобрался в характере Кондрата, чем Адель.

— В нем совершается наука, Ада. Она его единственное божество. И он поклоняется только ей.

— Возможно, Мартын. Но божество его выглядит мрачноватым. Мало радости поклоняться такой требовательной науке. Наверно, поэтому Сабуров сам выглядит хмурым и недовольным. Его товарищ Эдик гораздо приятней. Ты не знаешь, где он обретается?

— Могу специально для тебя разузнать. Кондрат с ним общается.

— Не надо. А теперь уходи. Честное слово, много работы.

Я ушел. Потом была экзаменационная сессия. Адель сдала все экзамены с блеском, я — посредственно. Что выходило за межи специализации, то меня не захватывало, я готовил себя в узкие профессионалы и утешался этим, когда получал тройки. А после экзаменов был праздничный вечер, и на нем сверкнула Адель. Студенты показывали свои артистические умения. Адель пела арии из оперетт. Небольшой голос не очаровывал, но она привлекала внешностью, движениями, просто тем, что красиво стояла на сцене. Ни одной студентке так много не хлопали, как ей. У меня и на другой день болели ладони.

Ко мне пришли Кондрат с Эдуардом. Я не видел Эдика со дня лекции Прохазки, он еще больше пополнел. Эдуард радостно сказал:

— Совершил важное открытие на экзаменах. Духовная пища по эффективности обратно пропорциональна телесной. Чем больше я вгоняю в мозги духовных яств, тем более пустым ощущает себя мой желудок. Вот почему все ученые мужи выглядят истощенными.

— По тебе не скажешь, что истощен. — Мы с Эдиком сразу перешли на «ты». С Кондратом эта операция так быстро не совершалась.

— Ты не уловил сути моего открытия, — важно сказал Эдуард. — Раз наполнение мозгов опустошает желудок, значит, надо нейтрализовать опустошение усиленной порцией оды. Вот почему я полнею от интенсивного интеллектуального труда.

— Пойдемте к Адели, — нетерпеливо сказал Кондрат. — Экзамены кончились, пора приступать к делу.

Адель повстречалась нам около общежития. Она была одета по-дорожному, держала в руках чемоданчик.

— Сегодня начинаем работу, — объявил Кондрат.

— Сегодня я улетаю к родным в Ольштын, — сказала Адель. — И вернусь к осенним лекциям. На меня не рассчитывайте.

У Кондрата стал такой обалделый вид, что я не удержался от смеха. От неожиданности он терялся. Эдуард был человеком иного сорта. Он мигом показал, как преодолевать любые затруднения.

— Отлично! — бодро сказал он. — Сейчас вы докажете нам, Адель, что в вас таится научная знаменитость. Давайте чемоданчик, я понесу его обратно.

Она отвела руку Эдуарда и сухо сказала:

— Разве вы не слышали? Ровно через час я улетаю в Польшу.

— Наука требует жертв, Адель. И масштабы жертв соразмерны величию успеха. В этом году ваши родные обойдутся без вас. А спустя десять лет сами приедут сюда, на лужайку, где мы стоим и будут любоваться тем, что вознесется тогда на этом местечке.

Говоря все это, он широким жестом обводил кругом, а мы поворачивали головы, куда он показывал. Местечко было из захудалых: десяток кустиков сирени, налезавших один на другой, скамейки и чуть подальше — два могучих вяза. Сама лужайка была как лужайка — заросшая травой площадка. В общем, любимый студенческий уголок, днем здесь на травке штудировали записи и прослушивали магнитофонные лекции, а вечерами назначали свидания.

Кондрат опять показал, что соображает туго.

— Эдуард, что может здесь вознестись? Здания не построить, а если насадят деревья, так ведь через десять лет они будут еще маленькие.

Эдуард наслаждался нашим недоумением.

— Друзья мои, наука требует не только жертв, но и воображения. Что до жертв, то все мы готовы их приносить. Адель сегодня покажет нам великолепный пример в этом смысле. Но с воображением у вас слабовато, констатирую это с душевной скорбью. Памятник вознесется на этом месте, вот что произойдет через десять лет.

— Умрет какая-нибудь знаменитость? — поинтересовался я. — Не расшифруешь, кого собираешься умертвить?

— Познай самого себя — так говорили греки. Худо, худо у нас с самопознанием! Памятник воздвигнут нам четверым — живым, а не мертвым. И, естественно, всемирно знаменитым, — без этого мрамора не дадут. Впереди на постаменте шагает Адель Войцехович, прекрасная, как Афродита, и мудрая, как Афина, — в камне она получится еще красивей и умней, чем в жизни. А за ней компактно мы трое. И надпись — золотые буквы, завитушки и все прочее, — что именно на этом месте, именно в сегодняшний день, именно сразу после экзаменов четверо студентов начали совместное исследование, которое ошеломительно двинуло вперед человечество. Как вы думаете, Адель, понравится ли вашим родителям групповой памятник с вами в заглавной роли? Что до мраморных волос, линий фигуры и складок одежды — все будет по классу «люкс», это гарантирую.

Мы хохотали. Меня потом долго удивляло, что веселая шутка Эдуарда могла так подействовать на Адель.

— Неси назад, Эдик! — Она протянула ему чемоданчик. Я отметил про себя, что Адель без полагающихся в таком деле церемоний сама сказала ему «ты». — Поездка отменяется. Вычислять будем у меня.

Так началась наша совместная работа. И началась с неудачи.

Первый блин вышел комом. Идея Кондрата была слишком туманна, чтобы послужить практическим фундаментом. Это была именно идея, а не теория, даже не гипотеза. Она увлекла нас многими достоинствами — широтой, глубиной, интеллектуальным изяществом, философской гармонией, можно еще подобрать таких красот, — но превратить ее в математический расчет не удавалось. Это стало очевидно, когда Адель застучала длинными, как у пианистки, пальцами по своему калькулятору. Мы знали уравнения Прохазки, по которым не вещественные объекты разбегаются в неподвижном беспредельном пространстве, а само динамическое пространство, непрерывно нарождаясь, еще более разбрасывает эти самые объекты, но из уравнений Прохазки не сумели вывести своих. Ибо он описывал уже существующий пейзаж Вселенной, а мы хотели менять его. Принципиально разные подходы. Один древний мыслитель великолепно выразился: «Философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы мир изменить». Прохазка тоже лишь объяснял реальный мир, а мы пожелали его переконструировать. И не хватило пороха.

Собирались мы всегда у Адели. Кондрат жаловался, что в ее комнатушке нельзя ходить, а без непрерывного хождения у него и мысли плохо двигаются, лучше бы трудиться в пустом лекционном зале или — при хорошей погоде — в парке. Мы не поддавались на упрашивания. Адель любила работать за столом, пухлый Эдуард чувствовал себя уютно на диванчике, а для меня комнатка Адели была родным местом — столько в ней выпало отрадных минут!

Я закрываю глаза и снова вижу ту узкую комнату: две боковые стены в сиреневых — в полутон — обоях, входная дверь, задернутая портьерой, и окно шире двери. А в окне, в оранжевой брусчатке, как в броне, главная университетская площадь, отделяющая общежитие от учебных корпусов. И в комнатке четверо: Адель за столом, Эдуард на диване, я на стуле возле стола, а Кондрат на любом свободном месте и всегда стоит — это, он объяснял, дает некоторое впечатление ходьбы. Он хмуро молчит, выслушивает нас и сердится, если что не так. Больше всех достается мне, он почему-то придает особое значение каждому моему слову. А я слушаю вполуха и украдкой любуюсь профилем Адели. Я уже упоминал, что она тогда была далеко не той красавицей, какой ныне стала. «Миловидная, и только», — говорили о ней не одни девушки, но и парни. Хотя профиль у нее и тогда был прекрасен ровная линия высокого лба, с легкой горбинкой нос, губы, похожие на красный цветок, и точно соразмеренный подбородок. В общем, древние скульпторы такие профили вытесывали у своих богинь, говорю о хороших богинях, бывали, кажется, и скверные, для тех Адель моделью бы не послужила.

Хорошо помню, как мы вдруг поняли, что ничего не выйдет из нашей попытки совершить научную революцию. Я сказал «вдруг», потому что ни разу до того мы не задумывались, сколь безмерно малы наши средства по сравнению с целью. Было чудовищное несоответствие между теорией происхождения Вселенной и попыткой применить эту теорию для конструирования нового генератора энергии. Мы так были увлечены своими мечтами — самый точный термин, — что это несоответствие и отдаленно до нас не доходило. А в тот день дошло.

Адель бросила вычислять и с досадой объявила:

— Ничего не получится, пока мы не раскроем главную загадку: почему вообще возникло пространство? И как можно влиять на его образование? У Прохазки об этом ни слова, и у нас не больше.

Кондрат тоже понял, что от космологических теорий непросто перейти к технологическим делам, но не мог отречься от своей идеи.

— Кое-какие результаты все же получены. Мы теперь знаем, какую энергию можно получить от того, что пространство новообразуется. И не в масштабах Вселенной, а в ядерных превращениях внутри лабораторного механизма.

Эдуард — он был далеко не такой вычислитель, как Адель, и ему всех раньше надоели бесперспективные расчеты — безжалостно опроверг Кондрата:

— Помнишь пословицу: «Ежели бы да кабы да во рту бы росли бобы, то был бы не рот, а огород»? Точная формула нашего исследования. Кабы скорость образования пространства увеличилась вдвое, то прирост энергии был бы такой-то, а ежели втрое, то другой. Если это называется результатом, то что называть переливанием из пустого в порожнее? Дорогой Кондрат, предлагаю прервать нашу работу. Лето слишком хорошее время, чтобы так бездарно его терять. Завтра отправляюсь в горы. На семитысячники я поднимался, а восьмитысячники не покорял. Считаю это серьезным просчетом.

Мы отложили работу до осени. Адель улетела в Ольштын к родным, Эдуард двинулся в Гималаи, я провел отпуск на Тихом океане. В то лето мне представлялось, что наши совместные изыскания постигла окончательная неудача. Я встретился с Кондратом, и он подтвердил, что потерял надежду на успех. Встреча произошла в Туруханске, многомиллионном городе на Енисее. Нашу ракету, летевшую с тропических островов Тихого океана, задержали в Туруханске по навигационным причинам, и я воспользовался этим, чтобы познакомиться с городом. Уже давно не строят таких исполинов, как Туруханск, он да новый Бийск, оба возведенные в XXI веке, — последние гиганты Сибири. Разрастанию заштатного городка Туруханска способствовало, что он стал административным центром Великой Северной магистрали, связавшей север Норвегии с Камчаткой, а когда железные дороги потеряли свое прежнее значение, еще больший импульс развитию города дало открытие в приенисейских краях уникальных рудных богатств.

Туруханск меня не восхитил. Город как город — небоскребы, широкие проспекты, экзотические парки, вечерние гулянья на Енисее... Только золотые лиственницы, впадавшие в осеннюю дрему, да показанное ночью местным Управлением Земной Оси красочное полярное сияние впечатляли: ни такого густого золота деревьев, ни такой неистовой светопляски в небе в других городах не встретишь.

В ресторане я увидел Кондрата. Собственно, не я его, а он меня. Я сидел за столом, он подошел, сел, кивнул, ткнул вилкой в закуску, прожевал и хмуро выговорил:

— Здравствуй, Мартын. Ты что здесь делаешь?

— То же, что и ты — ужинаю, — ответил я.

— Ты же на Тихом океане.

— Был.

— Сейчас в Туруханске?

— Сейчас в Туруханске. Тебе не откажешь в наблюдательности.

— Перестань ерничать! Что за привычка надо всем издеваться?

— Иронизировать, а не издеваться, — поправил я. — И не надо всем. Ты преувеличиваешь.

— Я здесь живу, — сообщил он.

— В Туруханске? Влечет к большим городам? Не ожидал.

— Не влечет, нет. Я здесь учился. А родной дом — на Курейке. Слыхал, наверно? Речка небольшая, около тысячи километров, но красота! Мартын, поедем со мной! Еще две недели до учения. Метеорологи обещают у нас небывалую осень — теплынь, тишина. Будем грибы собирать, удить рыбу. Ты знаешь, какая рыба? Нельма, муксун, хариус, попадается и осетр. От одних названий во рту слюна! Не пожалеешь!

Я еще не слышал от Кондрата столь зажигательной речи. Даже когда он излагал свои космогонические идеи, у него так не светились глаза.

— Мы ведь хотели собраться пораньше, чтобы поработать еще над идеей, — напомнил я.

Он вмиг потускнел. У него была своеобразная внешность — черные лохмы прикрывали две трети могучего лба, скуластые щеки, выдвинутые вперед двумя подушками, почти поглощали собой незначительный нос, широкий рот окаймляли слишком тонкие губы, а подбородок вообще не годился для такого массивного лица — слишком маленький, к тому же и округлый. Тонкие чувства — нежность, ласку, тихое удовольствие, вежливое неодобрение — таким невыразительным лицом не изобразить. Да он и не старался их изображать, они были ему не по душе. Уже при первой встрече с Кондратом меня поразили его глаза. Они легко вспыхивали и погасали, то расширялись так, что становились огромными, то суживались до щелок. Ярко-голубые на темнокожем лице от предков эвенков — и таких прародителей Кондрат отыскал в своей родословной, — в минуты крайних чувств его глаза вдруг меняли свой цвет. Это звучит фантастично, но в воспоминании я вижу со всем ощущением реальности несхоже разных Кондратов — безмятежно голубоглазого и почти черноглазого. И все это его родные краски, не моя придумка.

В туруханском ресторане он поглядел на меня потемневшими глазами и буркнул:

— Ну и езжай, коли не терпится. Собирайтесь втроем, без меня. Без меня вам будет интересней.

— Почему такая опала на нас?

— Не опала, а трезвая оценка ситуации.

— Но потерял ли ты веры в свою идею?

— Не я, а вы. Не было у вас настоящей веры, не появилось и старания. Ты больше заглядывался на Адель, чем размышлял о проблеме. Эдуард про себя прикидывал, как бы отбить ее у тебя. А она только бездумно вычисляла и была довольна, что два таких парня не отрывают от нее глаз. Не хотел говорить, но раз уж к слову... Никогда не прощу тебе!

— Чего именно? Того, что заглядывался на Адель?

— И этого. Напрасно ухмыляешься! Адель все равно тебе не достанется, ты не про нее. И она не годится для тебя.

Я чувствовал, что разговор должен кончиться ссорой. В отличие от Кондрата, я еще пытался сдерживаться.

— Разреши, мой милый, мне самому определять, кто и что мне годится. В твоих советах я не нуждаюсь.

Он распоясался. Впервые я видел его таким сердитым. Впоследствии выпадали сцены и поскандальней.

— Ты слепец! — воскликнул он. — Как можно так себя не понимать? Ты же талант, ты способен на такое!.. Ни от Эдуарда, ни от твоей смазливой Адели настоящей помощи не ждал и не жду. Выполнять указания, приобщаться к идее — это они да! Но ты?.. Сколько великих умов погубил шаблон создавать семью! На глазах тривиально гибнешь! Как это терпеть, я спрашиваю?

— И не терпи, — холодно посоветовал я. — Выходи из себя, рви волосы, проклинай человеческую природу, осуждай тривиальность любви мужчины и женщины. Но делай это про себя. Я не из тех, к кому безопасно лезть в душу грязными сапогами! Тебе понятно, дорогой Кондрат?

— Грязные сапоги! Вот как ты это понимаешь? Ладно, твое дело. Но когда-нибудь сам об этом заговоришь со мной...

— Не в Курейке ли, куда приглашаешь меня погостить? Слишком короткий срок, чтобы отделаться от шаблона заводить семью.

— Отменяю приглашение! — Он встал. — Нечего тебе делать на такой реке, как Курейка!

Я не пытался его задержать.

В Столице я пошел к Адели, которая вернулась из Ольштына за день до меня. Она очень смеялась, когда я рассказал, как мы хорошо поговорили с Кондратом в Туруханске.

— Все-таки замечательный он человек! И во многом прав.

— Какую же правоту ты заметила в этом замечательном человеке?

Она мотнула головой. Ей очень шло, когда тяжелые, густые волосы закрывали на секунду лицо и потом снова, как приглаженные, ложились на плечи.

— Нет, ты подумай. Мартын! Влюбляться, рожать, забыть о себе ради детей... Неужели человек появляется на свет только ради того, чтобы продолжить цепь кровных родственников? Кондрат отрицает общечеловеческий шаблон ради чего-то высшего в себе. Это не может не покорять!

— Еще никому из великих людей обзаведение семьей не мешало достичь величия, — неосторожно возразил я.

Она лучше меня изучила биографии великих людей науки.

— Ты уверен в этом? А почему оставались холостыми Архимед, Платон, Ньютон, Декарт, Спиноза, Кант, Лейбниц, Руссо, Гоголь... Нужны еще имена?

Я попытался внести в разговор веселую нотку.

— Мало ли что было в древности! Тогда заботы о семье ложились на плечи беднякам таким непосильным грузом, что было не до науки. Но ты меня пугаешь, Адель. Неужели и тебя прельщает отказ от человеческого шаблона любить, быть любимой, иметь детей?..

Она смеялась.

— Я не великий человек, как он и ты сам, если верить его мнению о тебе. И трудно уклониться от шаблона влюбленности, когда двое так заглядываются на тебя, цитирую Кондрата в твоем изложении. Кстати, разве Эдуард мной увлечен? Он больше подшучивает надо мной, чем сыплет комплиментами. На шаблон ухаживания не похоже.

— Между прочим, Адель, хоть Кондрат и провидит во мне что-то великое, ни от одного из хороших человеческих шаблонов не откажусь. И меня устраивает, что и ты от них не отрекаешься. Ты понимаешь меня?

Она стала серьезной.

— Не надо, Мартын. Раньше закончим университет. Наберись терпения.

— Терпение — продукт скоропортящийся, — грустно пошутил я.

Таким был наш разговор после каникул. Я набрался терпения и ждал. Впрочем, и мне вскоре стало не до любви. Предпоследний курс университета всегда самый трудный, а этот для меня оказался трудным особенно. В тот год открыли ротоны, и мне предложили специализироваться в экспериментальной ротонологии. Дело было из тех, что захватывает и душу, и время.

У Адели и Эдуарда тоже хватало своих забот. Кондрат не показывался на люди. За всю ту зиму мы ни разу не встречались.

7

Открытие ротонов сыграло решающую роль в реализации идеи Кондрата. И первый это понял я.

О ротонах сейчас много говорят: впечатление, будто о них все знают. Но количество слов, посвященных ротонам, обратно пропорционально пониманию их природы. Ротоны — одна из великих загадок физики. Ныне меня называют ведущим специалистом по ротонам, хотя я никого не веду за собой и вся моя специализация исчерпывается признанием, что я мало чего понимаю в этих удивительных частицах. Конечно, я знаю, что ротоны — связующее звено между вакуумом и веществом, что они возникают из вакуума и исчезают в нем и что никакие превращения вещества в энергию без их посредства не происходят. Я могу любые явления, связанные с ротонами, описать безукоризненными уравнениями, а разработанные — не только мною, но главным образом мною ротоновые генераторы убедительно доказывают, что нам доступны практические действия с ними. Но все же — что такое ротоны? На этот такой простой вопрос я не могу найти ни простого, ни сложного ответа.

И я иногда вспоминаю одного остроумного физика первой половины двадцатого века. В те годы открыли волновое уравнение, описывающее взаимодействие микрочастиц. В уравнение входила загадочная функция «пси». И вот этот физик, Яков Френкель, так звали его, шутил: «Мы все умеем делать с функцией пси — логарифмировать и интегрировать ее, вводить и выводить ее из уравнений, установили ее точное соотношение с другими функциями. Мы только одного не знаем о ней — что она, собственно, такое?» Потом узнали, и природа функции пси оказалась удивительной: не частица, не действие, а вероятность того, что с частицей совершится какое-то действие. Возможно, и мы когда-нибудь узнаем, что такое ротоны, но пока известно лишь, что они существуют и что с ними можно производить кое-какие практические операции.

Вскоре после того как я углубился в эксперименты с ротонами, мне стало ясно: они вполне годятся для Кондрата. И тогда я пошел его искать.

Кондрат готовился к экзаменам, а это означало, что ни в аудитории, ни в лаборатории, ни в библиотеке, ни тем более в общежитии его не найти. Я обнаружил его на берегу университетского пруда, он валялся на траве и, как мне показалось, задумчиво поплевывал в небо.

— Здравствуй! — сказал я.

— Постараюсь, — скучно отозвался он. Это тоже относилось к свойствам его характера — в тривиальных выражениях вдруг отыскивать их первозданный смысл. — Но трудно, Мартын. Математика душит.

— А на что вычислительные машины? — Я уселся рядом с ним. — С компьютерами даже малыши интегрируют дифференциальные уравнения. Почему бы тебе не воспользоваться передовым опытом детских садов?

— Я не Адель, которая без карманного компьютера боится отвечать на вопросы: «Вы голодны?», «Не пойти ли нам прогуляться?». Впрочем, что ожидать от астронома? Максимум их интеллектуальных возможностей — в перерыве между вычислениями фотографировать небо, не замечая, что оно сегодня затянуто тучами.

Кондрат сказал это так, словно и впрямь верил, что все мыслительные способности Адели сосредоточены в пальцах, играющих на клавиатуре компьютера. Когда им овладевало раздражение — особенно беспричинное, оно всегда бывало самым сильным, — он терял объективную оценку вещей и людей. Я однажды видел, как он в приступе подобного раздражения с такой силой врезал ногой по стулу, что стул взвился птицей и еще в воздухе распался на части. И Кондрат мигом успокоился, как будто единственным, что его выводило из себя, был этот стул, мирно покоившийся на четырех непрочных ножках.

Я весело сказал:

— Между прочим, Адель мыслит не хуже нас с тобой. И еще не раз нам прибегать к ее великолепному дару любую мысль превращать в таблицу знаков и чисел.

Он пробурчал:

— Ладно, пусть мыслит, если умеет. Меня это не касается.

— Очень касается, Кондрат. Нехорошо недооценивать друзей.

— Слушай, к чему эта скучная дидактика? И зачем ты вообще явился ко мне? Я тебя не звал.

— Ошибка на ошибке. Не просто звал, а призывал. Требовал и умолял, чтобы я появился. В душе, конечно, а не на словах. И вот я уступил твоему внутреннему отчаянному зову. Теперь радуйся.

— Иди к черту! — Он уже догадался, что произошло что-то чрезвычайное.

— Не пойду, Кондрат. Черти упразднены. Теперь слушай внимательно. Вскрикивать от восхищения разрешаю!

— Опять ерничаешь! — Кондрат приподнялся. Слушать лежа он органически не умел.

Вскрикивать от восхищения он не стал, но на одобрительные реплики не поскупился. Я описывал, какие эксперименты с ротонами поставлены в нашей университетской лаборатории. Одно уже очевидно: что бы собой реально ни представляли ротоны, они — тот единственный ключик, который способен раскрыть сокровищницу вакуума. Вакуум — великое хранилище вещества, энергии, самого пространства, самого времени, но вход в это хранилище был наглухо закрыт. А теперь появилась возможность распахнуть таинственные подвалы. Не воспользоваться этим — научный грех.

Кондрат вскочил на ноги, и так стремительно, что мне показалось, будто он хочет куда-то бежать.

— Куда торопишься? — спросил я и тоже поднялся.

— Отыщем Эдуарда и Адель! И немедленно разработаем инженерную модель.

Он уже настолько уверовал в эффективность ротонов, что мысленно видел тот механизм, формулы для которого еще не было изобретено. Я сказал посмеиваясь:

— А зачем нам Адель? Мыслить не умеет. Астроном, а не инженер. Не послать ли ее к черту, как недавно посылал меня?

— Ты же сам сказал, что черти упразднены. Посылать некуда. — И добавил с волнением: — Я всегда верил в тебя. Мартын. Я знал, что ты предназначен для чего-то более высокого, чем зубоскалить и нудно влюбляться в хорошеньких студенток. И когда наша установка заработает, я торжественно всем объявлю, что главный ее творец — ты!

Когда наша установка заработала, он и не подумал особо выделить мою роль в ее конструировании. Он и свою воистину главную роль не выпячивал, это была наша общая работа — что же говорить обо мне!

Но все же мне было приятно, что он так сказал.

8

Путь от расчета к инженерной модели оказался много сложней, чем представлялось даже мне, а меня Адель и Кондрат быстро отнесли к тому разряду людей, которых именуют бесплодными скептиками. Кондрат негодовал: я, нашедший единственный путь к успеху, меньше их всех верил в успех и своим неверием гасил общее воодушевление. Систематическое сомнение способно родить одни провалы, разве не так? Адель вторила: плодотворна увлеченность, а не скепсис — истина, выстраданная всем человечеством. Она завершила труднейшие вычисления в университетском вычислительном центре, впервые отказавшись от своего карманного компьютера как от слабосильного средства, и численные выводы безукоризненно совпали с теоретическими ожиданиями. Но отличное окончание ее труда было началом, а не завершением нашей общей работы. Лишь я умел оперировать с ротонами, а в моей крохотной лаборатории и отдаленно не получалось того, что изображалось математическими уравнениями. Оба они — Адель и Кондрат — подозревали, что я не показываю усердия, если вообще не лишен экспериментального дара.

Эдуард один понял суть моих затруднений, когда сам я уже не знал, как оправдываться.

— Ребята, не душите Мартына, — сказал он. — Конечно, он звезд с неба не хватает и пороха пока что не выдумал, тем более что выдумывать порох давно уже незачем. Но в лаборатории он каждому даст десять очков форы. И если у него не получается, значит, так и должно быть, чтобы не получалось.

Кондрат вздыбился:

— И ты разуверился в нашей работе? А кто горячей всех уверял, что нас ждет неслыханный успех? Какие только не находил слова!

— И сейчас на них не скуплюсь. И в том памятнике, который нам прижизненно воздвигнут, давно зарезервировал себе на постаменте местечко слева, плечом к плечу с тобой. Но одно дело — грядущий памятник, другое лабораторный стенд. Лаборатория Мартына слишком скудна, чтобы воспроизвести в ней теоретические эффекты.

— Создать новую лабораторию специально для нас?

— Именно, Кондрат!

— Пустые мечты! — сказала Адель. — Ты позабыл, Эдик, что университетские лаборатории оборудуются для учебных курсов, а не для научных потуг студентов. Кто мы такие, чтобы нам создавали новую?

Эдуарда нелегко было сбить с курса.

— Адочка, у меня и мысли нет требовать для нас новой университетской лаборатории.

— Этим сказано все, Эдик!

— Пока ничего. Дальше будет так. «Квод лицет йови, нон лицет бови», простите мое латинское произношение. Впрочем, кто знает сегодня, как римляне говорили две с лишком тысячи лет назад. Смысл: что прилично Юпитеру, то неприлично быку. Или в данном конкретном случае, что неприлично быку...

— Не тяни! — приказал Кондрат.

— Не буду. Короче, предлагаю открыть ротоновую лабораторию не в университете, а в лучшем научном центре Столицы, том самом, который вознесся своими прекрасными корпусами на другом берегу нашего паркового пруда.

— Нет, ты с ума сошел! Соображаешь, что говоришь?

— Отлично соображаю! Сейчас вы в этом убедитесь.

Кондрат смотрел в окно. На другом берегу озера высились величественные здания Объединенного института № 18. За десять последних лет ни один выпускник университета не получил назначения в Объединенный институт. Раньше нужно было потрудиться на заводах, в других научных учреждениях, опубликовать толковые исследования, удостоиться ученого звания и почетной медали — и лишь тогда Объединенный институт заинтересовывался тобой. Если в университете мы четверо что-то значили (все-таки из лучших студентов), то на том берегу наше научное значение ноль!

Эдуард опровергал наши возражения и рассеивал наши сомнения. Мол, нужно различать научное значение и научную известность. Научное значение это реальная ценность уже сделанных работ. А научная известность — лишь доведенное до всех извещение, что ты имеешь это научное значение. Так вот, научное значение мы уже имеем, ибо творцы великого открытия, которое, правда, еще не открыто, но скоро совершится. А научной известности пока никакой, ибо, кроме нас самих, никто не знает, какие мы выдающиеся ребята. Но что трудней приобрести — научное значение, свидетельствующее о твоем таланте, или научную известность, отражающую отношение к тебе других людей?

— Итак, научное значение у нас есть, но известности нет, а в Объединенный институт принимают только известных, — прокомментировала Адель. — Довольно скудная мысль, доложу тебе, Эдуард.

— Зато из скудной мысли воспоследуют богатые выводы!

Выводы были такие: нужно популяризировать себя. Пусть о нас заговорят крупные ученые. То, что в старину называлось рекламой. И начать с оповещения наших профессоров о том, что мы втайне от них разрабатываем. Второй шаг: каждый выбирает для защиты диплома раздел нашей общей темы. И третий: на защиту приглашаем самых знаменитых из знаменитостей Объединенного института.

— Не вижу, как пригласить знаменитостей на студенческую защиту.

— Зато я вижу. И это важней! Вы разрабатываете темы своих дипломных работ. Остальное сделаю я.

Я пошутил:

— В старые времена одна похоронная компания так себя рекламировала: «Господин клиент, ваша основная задача — умереть. Все остальное сделаем мы!» Ты действуешь по рецептам той компании.

— С тем отличием, что буду не хоронить вас, а выводить в большую науку. Называйте свои темы, друзья.

Кондрат взял тему «Общая проблема применения теории Клода-Евгения Прохазки о непрерывном нарастании пространства в космосе к разработке лабораторной модели установки, выводящей энергию вакуума в предметный мир». Мы трое объявили название труднопроизносимым. Но для Кондрата точность была важней фразеологических удобств.

Мне досталась разработка ротоновых генераторов, Адель взяла себе математическую теорию производства энергии путем использования ротоновых ливней из вакуума. Не могу не отметить, что термин этот — «ротоновые ливни» — является ее личным изобретением. А Эдуард настроился на доказательство, что наше изобретение вызовет такой же переворот в технике, как некогда пар, электричество, ядерные реакторы и солнечные генераторы.

— Будешь научно обосновывать, что надо без отлагательства приступить к сооружению нам четверым прижизненного памятника? — Адель смеялась, но я видел, что тема Эдуарда ей по душе.

Вскоре мы представили наш проект в форме четырех разных работ на одну тему. Уже сама тема поразила университетских профессоров, а еще больше, что в новой научной теме сразу выделено четыре проблемы и каждой посвящено отдельное исследование.

Эдуард не ограничился шумихой в университете.

— Друзья, торжественно информирую: на нашу защиту прибудет сам великий Огюст! — объявил он. — В смысле: академик Огюст Ларр, директор Объединенного института № 18, выдающийся астрофизик, член тридцати академий и сорока научных советов — точное их число не подсчитывал, но если и ошибусь, то в сторону уменьшения.

— Эдуард, ты гений организации! — воскликнула Адель.

— Немножко есть, — скромно согласился он. — Когда я показал академику отзывы наших научных руководителей, он ахнул, такими мы расписаны начинающими гениями.

— И ты тоже? — съехидничал я.

— Я — особенно, друг мой Мартын! И не начинающим, а уже полноценным, в отличие от вас троих... Ибо вы только еще обещаете что-то сделать, а я широкими мазками живописую реальные последствия ваших пока нереальных проектов. Это ли не научный подвиг — воздвигнуть гигантское здание на фундаменте, которого еще нет!

Он хохотал. Кондрат после первой радости стал хмуриться.

— Одно мне не нравится, Эдуард: твое хвастовство! Ты, конечно, хорошо подвешенным языком мог, как колоколом...

— Не было! — опроверг Эдуард. — Хорошо подвешенный язык не качался, колокол красноречия не звучал. Было совсем другое. Был сутулый мужчина с длиннющими ногами и носом размером и конструкцией с боевую секиру предков и был застенчивый юноша, семенящий мелкими шажками рядом с широко шагающим по коридору академиком. И были отзывы, которые робкий юноша совал академику, роняя их от смущения на пол и не мешая академику самому поднимать их. И был трудный возглас академика: «Да если что здесь написано хоть наполовину правда, то вы четверо — гении, друзья мои!» Я из скромности не протестовал против обвинения в гениальности. И тогда он подвел итог нашей встрече: «Непременно приду на защиту и задам несколько вопросов». Вот так было.

— Самое главное — мы замечены! — ликовала Адель.

— Самое главное — неизвестные нам вопросы, которые задаст Ларр, сказал я. — И возможность оскандалиться на ответах.

— Каждый будет отвечать по своей теме, а общие проблемы возьмет Кондрат, — постановил Эдуард. — В себе и Адели я уверен, Кондрат одним своим хмурым видом покажет такую мыслительную сосредоточенность, что любой ответ примут как откровение. А за тебя, Мартын, побаиваюсь. Ты от обычного человеческого слабоволия, которое почему-то именуешь научной честностью, способен на вопрос: «Уверены ли вы, что дважды два четыре?» — нерешительно промямлить: «Сомнения, конечно, есть, и довольно обоснованные, но с другой стороны...»

— Буду помнить, что дважды два четыре, и не мямлить.

А затем была защита наших работ — четыре исследования четырех разных сторон одной темы. Один за другим мы выходили на трибуну — первым Кондрат, за ним Адель, потом я, завершал цепочку Эдуард. И хорошо завершил, говорил он лучше нас всех.

В зале сидели гости — Огюст Ларр, знакомый каждому по его портретам, и рядом с ним большеголовый, широколицый блондин. На него я сразу обратил внимание, даже красочный Ларр так не заинтересовал меня, как этот невыразительный человек, — несомненное предчувствие будущих стычек с ним. Я спросил Эдуарда:

— Ты все знаешь, Эдик. Кто это рядом с Ларром?

— Рыжий? Серый кардинал Объединенного института.

— Кардинал? Разве имеются такие должности в научном штате? И почему серый? Он, скорее, желтый.

— Надо лучше изучать историю, дружище. Серый кардинал — прозвище духовника Ришелье, втихаря подсказывавшего своему владыке многие решения. В общем, тайная сила. Та самая левая рука, о действиях которой ничего не знает правая. У Ларра он духовник. В смысле — главный заместитель по второстепенным делам. Понятно?

— Не очень. Но пока хватит.

Директор Объединенного института № 18 обещал задать несколько вопросов. Он задал один и адресовал его мне. Уверен ли я, что генератор ротоновых ливней будет работать надежно. Я ответил, что, пока генератор не сконструирован, остается доверять теоретическому расчету. Ларру понравился мой неопределенный ответ.

После защиты Ларр подозвал нас четверых.

— Поздравляю, юные друзья! И тема многообещающая, и разработка солидная. Мы с моим другом Карлом-Фридрихом Сомовым, — он кивнул на желтоволосого соседа, — хотели бы видеть вас в коллективе нашего института. Возражения будут?

— Ни в коем случае! — заверил Эдуард. — Трудиться в вашем институте предел мечтаний для начинающего ученого.

— Я тоже так считаю. Вам надо подумать, в какой лаборатории вы собираетесь трудиться.

— В собственной, — твердо заявил Кондрат. — В Лаборатории ротоновой энергии.

Ни о собственной лаборатории, ни о ее названии мы между собой не говорили, это была отсебятина Кондрата. Ларр, вероятно, удивился не меньше, чем мы трое, но не стер улыбки.

— Как думаете, Карл-Фридрих, — сказал он Сомову, найдется ли у нас особая лаборатория для четырех юных талантов? Название ей уже дано, так что остается немного — выделить помещение, заказать оборудование, разработать программу экспериментов, утвердить штат...

— Посмотреть можно, — неопределенно ответил Сомов.

— Завтра ждем вас, — сказал Ларр, — Поскольку научная программа у вас, кажется, разработана на несколько лет, принесите и ее.

Дома мы набросились на Кондрата.

— Нет, ты сошел с ума! — негодовала Адель. — Представить завтра программу! Да нам месяца не хватит. Все, что ты Ларру наговорил, несерьезно.

— Не все, но многое, — поправил Эдуард. — Что Кондрат выпросил нам лабораторию — успех. Но успех может превратиться в провал, ибо без обоснованной программы...

— Программа есть, — сказал Кондрат. — Я ее уже составил.

— Уже составил? Где же она?

— Здесь! — Кондрат хлопнул себя по лбу.

9

Я устал размышлять. Сидеть в кресле и вспоминать прошлое — тоже работа. И утомительная работа. Проще действовать у стенда руками, чем перекатывать мысли, как валуны. Я снял оба датчика мыслеграфа, закрепленные за ушами. Все, что я думал и что разворачивалось в мозгу живыми картинами, зафиксировано на пленку. Если захочу, она заговорит моим голосом, покажет, что видели мои глаза в прошлом и сегодня. Интересно, заметил ли Сомов, что я слушаю его, навесив датчики? Вряд ли! Хоть волосы у меня не так длинны и не так кудрявы, как у Эдуарда, но уши они прикрывают. Я засмеялся. КарлФридрих Сомов дьявольски умен. Он мог и не заметить двух крохотных датчиков за ушами, но он не мог не знать, что я ими непременно воспользуюсь. Программу воспоминаний на экране дисплея он заметил сразу. И что любые мои мысли и слова будут фиксироваться, он знал заранее. Значит, и сам говорил не только для меня, но и на запись.

— Тем лучше, — сказал я вслух и встал. Раньше, работая здесь, я часто забывал и об обеде, и об ужине. Сегодня забывать о еде резона не было.

Мне захотелось перед уходом еще раз заглянуть в комнату Кондрата. Бывая тут, он чаще садился на диван, а не за стол. Я поглядел на научный иконостас над столом: четыре гения, четыре лика — Ньютон, Эйнштейн, Нгоро и Прохазка, — и сел на диван.

Теперь с противоположной стены в меня вглядывались два физика Фредерик Жолио и Энрико Ферми. И я вспомнил, что великая четверка была над столом с первого дня лаборатории, а эти двое появились незадолго до ухода Адели и Эдуарда. Эдуард тогда удивился:

— Зачем еще два портрета, Кондрат? К нашей тематике их работы отношения не имеют.

— Для Мартына, — буркнул Кондрат. — Чтобы не забывал, что ядерщик, как они.

— Если для Мартына, то повесь их в его кабинете, а не у себя.

Переносить ко мне портреты старых ядерщиков Кондрат не захотел. И часто всматривался с дивана в оба портрета, что-то выискивал в тонких, одухотворенных лицах. Я как-то тоже поинтересовался, чем они так привлекают его.

— Великие ученые, разве ты не знаешь?

— Знаю. Но Эдик прав: портреты Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Доменико Нгоро и Клода-Евгения Прохазки больше отвечают тематике нашей лаборатории. Будем поклоняться тем, кто нам ближе.

— Что называть поклонением? У этих двоих судьба сложилась по-иному, чем у Ньютона, Эйнштейна и Нгоро. Те просто творили, шли от одной великой теории к другой. И Прохазка таков же. А эти отреклись от собственных великих достижений. Научная трагедия двух гениев, разве не интересно? Тема для литературного произведения.

Никогда до этого я не замечал, чтобы Кондрата интересовала литература, живописующая личные драмы. Биографии великих ученых занимали его гораздо меньше, чем их научные труды.

Больше мы не разговаривали о двух старых физиках. Было не до них...

Я вышел из кабинета Кондрата и направился домой.

Утром я пришел в свой бывший кабинет, как на службу. Опять прикрепил к ушам датчики мыслеграфа и принялся восстанавливать в памяти прошлое.

Итак, мы четверо стали сотрудниками знаменитого института. И не просто сотрудниками, а работниками собственной лаборатории. Однако оказалось, что в этом есть свои неудобства. Лаборатория существовала лишь на бумаге. Помещения не было: все свободные комнаты давно освоили другие лаборатории и мастерские.

— Как вы отнесетесь к тому, что институт построит для вас специальный корпус? — спросил Карл-Фридрих Сомов.

Мы отнеслись хорошо — и совершили ошибку. Даже Кондрат, горячей всех настаивавший на самостоятельности, вскоре понял наш просчет. Если бы мы отвоевали себе комнатушку, кого-либо потеснив, работа началась бы неотлагательно. Но нам сперва проектировали, потом строили, потом монтировали отдельный корпус. А пока лаборатория создавалась, мы истомились в безделье. Адель проверяла многократно проделанные вычисления, Эдуард внедрялся во все отделения института и всюду предсказывал, что на нас четверых вскоре будут с почтением оглядываться прославленные научные старцы.

— И ведь верят! — со смехом говорил он. — Считаю, что теперь мы просто не имеем права быть меньше, чем научными титанами.

— Болтун! — сердился Кондрат.

— Не болтун, а популяризатор. Нечто гораздо более почетное.

Строительство и монтаж лаборатории друзья поручили мне. Но я провалился. Каждый день приходил к Сомову, каждый день на что-то жаловался и чего-то требовал. Он обещал ускорить работы — ничего не ускорялось.

Адель первая поняла, что Карл-Фридрих Сомов наш недоброжелатель.

— Он почему-то не терпит нас, но старается не показать этого, заявила она. — Я читала в одной старой книге, что был такой термин: «тянуть резину». Вот он и тянет резину, хотя я сама не очень понимаю, что это за штука — резина, которую нужно тянуть.

— Которую не надо тянуть! — поправил Эдуард. — Резина — древний строительный материал, ныне не употребляется. Для чего ее тянули, сейчас не установить. Но хорошего в этом не было, это точно.

— Разберись! — приказал мне Кондрат. — Не что такое резина, а для чего ее тянет Сомов. Выясни его истинное отношение к нам.

Но как я мог выяснить истинное отношение Сомова, если он скрывал его за маской вежливости. На невыразительном лице ничего не открывалось, а в душу залезть я не мог. Кондрат пошел вместе со мной к Сомову.

— Я его раскрою, Мартын! Сцена будет впечатляющая.

Сцена, разыгранная Кондратом, мало походила на деловое объяснение. Кондрат обвинил Сомова, что тот намеренно мешает нашим исследованиям, потому что не верит в их значение. И Сомов немного приоткрылся. В глубоко посаженных тусклых глазах замерцало что-то живое.

— Вот как — не верю в значение ваших работ? — В голосе, который Кондрат называл «желтым», послышалась ирония. — А почему должен верить? Потому, что вам этого хочется? Основание недостаточное. Покажите результаты, и посмотрим, каковы они.

— Чтобы были результаты, нужно, чтобы мы начали работать, а вы этому не способствуете! Вы словно опасаетесь чего-то плохого. Вот ваше отношение к нам.

Он высокомерно усмехнулся. Улыбка редко появлялась на его лице, а такая — особенно.

— Если бы я опасался чего-то плохого, я вообще не разрешил бы вашей лаборатории. Но известные сомнения у меня имеются. Наш директор горячо увлечен вами, у меня такого увлечения нет. Очень надеюсь, что в дальнейшем вы опровергнете все мои сомнения.

Этот разговор имел два результата: строительство лаборатории ускорилось и Кондрат возненавидел Сомова. Ненависть была столь острой, что представлялась почти беспричинной. Кондрат выходил из себя при одном упоминании о Сомове. И чтобы не порождать вспышек, мы трое сговорились при Кондрате помалкивать о первом заместителе директора института.

Затем произошли два важных события: стала функционировать наша лаборатория и развалилась наша творческая группа.

Адель объявила, что выходит замуж за Кондрата.

10

Лишь впоследствии я понял, что только для меня было неожиданным решение Адели и Кондрата соединиться. Я слишком ушел в конструирование и наладку ротонового генератора и проглядел, что совершается с тремя друзьями. Конечно, я знал, что Кондрат нравится Адели, она этого не скрывала. Но ведь и я ей когда-то нравился. И Эдуард ей нравился. У меня иногда появлялась мысль, что она выберет Эдуарда. Я говорю «она», а не «он», подразумевая под «он» меня, Эдуарда, Кондрата, ибо все мы могли лишь подчиниться или не подчиниться, решала она одна. И ни мгновения не сомневалась: кого выберет, тот и будет.

Было сумрачное осеннее утро, был тяжкий день, шел монтаж оборудования, и уже не помню, светило ли в тот день солнце, лил ли дождь, шастал ли по деревьям сухой ветер. И был вечер, когда мы наконец распрямили спины и подумали об отдыхе. Мы, трое мужчин, сидели на диване у Кондрата, а Адель раздала нам бутерброды и бутылочки с апельсиновым соком. Потом она подвинула к дивану стул, села перед нами и сказала:

— Ребята, имею сообщение. Мы с Кондратом поженимся.

Хорошо помню, что сразу обернулся к Кондрату. Он побагровел, низко опустил голову, дышал прерывисто — так волновался. Она улыбалась. У нее была — да и теперь бывает — удивительная улыбка, та самая, какую предки называли пленительной. Эдуард пробурчал:

— Поздравляю обоих!

Адель поглядела на меня. Из миловидной она вдруг стала красавицей. От нее трудно было оторвать взгляд.

— Почему ты молчишь, Мартын? У тебя есть возражения?

Я наконец обрел голос:

— Какие могут быть возражения? Я рад за тебя и Кондрата.

Эдуард попробовал благопристойно пошутить:

— Очень жаль, конечно, что ты выбрала не меня, Адочка. По против рожна не попрешь. В смысле: насильно мил не будешь. Такова печальная истина, установленная тысячелетними изысканиями человечества. Мы с Мартыном примиряемся с нашей горькой участью. В смысле: счастливы вашим счастьем! Какие нести подарки на свадьбу?

— Только один: хорошее настроение.

— Хорошее настроение обеспечим. За вас, молодожены!

И мы чокнулись бутылочками с апельсиновым соком.

В эту ночь я дежурил. Адель и Кондрат ушли, Эдуард остался мне помогать. Мы работали и говорили всю ночь. Эдуард не скрывал, что подавлен. Он признался, что влюблен в Адель со встречи на лекции Прохазки. Я сказал, что он умело камуфлировал свое чувство дружескими шуточками. Неужели так и не открылся ей?

— Что было открывать? Тебе и Кондрату, чтоб поняли, нужно подробно растолковать, желательно с приложением формул и чертежей. А она чужие чувства ощущает без слов. Всем существом резонирует на них.

— На твою любовь не прорезонировала, Эдуард.

— На твою тоже. И что до тебя — правильно поступила.

— Почему такая дискриминация моих чувств?

— Не дискриминация — понимание. Не сердись, я от души. Ты ведь кто? Фанатик науки, вот твоя натура. Куда больший фанатик, чем сам Кондрат. Адель с тобой не могла быть счастливой, ибо чувствовала бы себя как бы при тебе. Придаток к научным исследованиям, красочная деталь в семейном пейзаже, который сам по себе второстепенен... Нет, такая судьба не для нее.

— С тобой у нее была бы иная судьба?

— Можешь не сомневаться! Видишь ли, Мартын, мы с Адой вовсе не гении, хоть и пыжимся. Новую главу в науке не обозначат ни ее, ни моим именем. Мы всегда будем при вас — при Кондрате и при тебе. Это не значит, что я уже объявляю вас научными исполинами. Но вы можете, если повезет, вырасти в исполинов, мы — нет. Улавливаешь разницу? Вот почему для меня Адель совсем иное, чем для вас.

— Короче, ты в нее по-настоящему влюблен!

— Настоящее, не настоящее! Какая еще может быть любовь, кроме настоящей?

— Тогда объясни все-таки, почему она не отрезонировала благожелательно на твое чувство, которое сулит ей счастливую судьбу? Почему вдруг покорилась желанию Кондрата взять ее в жены? Сам же говоришь, что он не будет ей хорошим мужем, и она не может этого не чувствовать.

— Мартын, знаешь главную страсть Адели? Она честолюбива — вот доминанта ее характера.

— Все мы честолюбивы.

— По-иному. Для тебя и Кондрата слава — признание важности ваших работ, признание их научного значения. Вы гордитесь ими, а не собой. А для нее слава — признание ее собственного значения. Результаты, принесшие ей славу, не просто открыты ею, а она сама раскрыта в них, они лишь ее иновыражение. Тебе понятен этот философский термин — «иновыражение»?

— Я плохой философ. С этим ничего не поделаешь. Значит, она сошлась с Кондратом ради будущей славы? Но слава, если будет, равно осенит нас всех. И раз так, то Адели должна быть дороже близость с тобой, ибо ты сильней любишь ее.

— Не всех одинаково осеняет слава. Больше всех ее достойны вы с Кондратом. Я считаю, что ты крупней, чем Кондрат, но она уверена в обратном.

— И я уверен в обратном. Это не мешает мне спокойно спать, когда есть возможность выспаться. Эдуард, а тебе не приходило в голову, что Адель попросту влюбилась в него? С людьми иногда это бывает — влюбляются. Вот и она влюбилась в Кондрата. С нами дружит, а его полюбила.

Эдуард покачал головой.

— Если бы так! С ее любовью к другому человеку, особенно к Кондрату, я бы примирился. Во всех нас угнездилось уважение к любви без разума и расчета. В старину говорили: «Любовь зла — полюбишь и козла». В необоснованности любви угадывали ее силу, это не могло не трогать. Но нет любви! Аделью командует честолюбие, а не страсть.

Мы помолчали. Я проверял монтажную схему ротонового генератора, Эдуард отмечал силу импульсов при включении. Потом он сказал:

— Только для тебя, Мартын... Раз уж исповедуюсь...

— Валяй! Дальше меня твоя исповедь не уйдет.

— Адель, конечно, будет изображать семейное счастье. Видеть это, боюсь, выше моих сил.

— Устроишь сцены ревности? Поссоришься с Кондратом?

— Хорошо бы, — сказал он с сожалением. — На кулачках либо на шпагах! В старину бытовали неплохие способы эффективно решать личные проблемы. Да не модно ныне! Нет, я выбрал другой путь. И в буквальном смысле путь улечу с Земли!

— Ты рехнулся, Эдуард! Уйти перед успехом? Когда каждый так нужен в общем деле!

— До успеха не скоро. И во время монтажа и пуска я менее всех нужен. Мне отведено Кондратом и тобой внедрение результатов, а не эксперименты. Катастрофы не будет, если я на год откомандируюсь на другую планету. Год срок достаточный для излечения больной души.

— Особенно если болезнь не смертельная.

Он засмеялся.

— Друг мой Мартын, ты разишь безошибочно. Самоубийства от любви давно пройденный этап человеческой истории.

— Куда же ты «откомандировываешься»?

— В планетную систему Цереры. В смысле — на Гарпию.

Я уставился на него. Среди новооткрытых планет не было страшнее Гарпии. И грозное ее название отвечало обстановке: на ней обитали существа, похожие на мифических гарпий.

— Там же война!

Эдуард пожал плечами.

— Ну и что? Если война, повоюю!

— Но там погибают наши астронавты! Такого страшилища, как Гарпия, надо избегать:

Он не преминул поострить:

— Люди обычно погибают в постелях, Мартын. Но я еще не встречал человека, который на этом основании избегал бы постели.

Мы посмеялись, потом я сказал:

— Когда собираешься улететь?

— После их свадьбы. Не сразу, чтобы они не связали с ней мой отъезд. Буду аргументировать, что временно мое присутствие не обязательно, поэтому хочу поразмять мускулы и поднакопить житейского опыта. Крепко надеюсь, что ты меня, во-первых, не выдашь, а во-вторых, поддержишь просьбу.

Я пообещал:

— Во-первых, не выдам, во-вторых, поддержу.

11

Вот так стала разваливаться наша группа.

Еще месяца два Эдуард исправно трудился в лаборатории, не говоря ни Кондрату, ни Адели, что надумал уходить. Только я угадывал скрытый смысл иных его поступков: он слишком громко требовал, чтобы ему выдали конкретное задание, возмущался, что всех меньше загружен и что это ему не нравится. Не знаю, как Адель, а Кондрат видел в таких требованиях лишь усердие и выдумывал Эдуарду работу.

Как-то я показал Эдуарду пусковой график ротонового генератора.

— Кондрат еще не видел? — быстро спросил он.

— Пока не видел. Улавливаешь ситуацию?

— Все ясно! Пуск через неделю — тогда у всех загрузка по горло. Короче: сейчас или никогда!

— Сейчас или никогда. Но советовал бы передумать.

— Об этом не может быть и речи. Мартын!

В тот же день Эдуард объявил, что ему предложили рейс на Гарпию сроком на год и он согласился. В лаборатории этот год будет наладочным. В общем, легко обойдемся без него. А на Гарпии небольшой коллектив наших астронавтов отражает натиск местных чудовищ. Люди требуют срочной помощи. Спасательную экспедицию возглавляет знаменитый Семен Мияко, проделавший четырнадцать дальних рейсов — столько еще никто не налетал среди звезд.

Эдуарду поручено разобраться в обстановке и дать рекомендации по освоению планеты.

Если Эдуард надеялся обмануть Кондрата и Адель, то сомневаюсь, чтобы в отношении Адели это удалось. Она побледнела, ее глаза впились в Эдуарда. И сказала она то, что и я говорил ему:

— Эдик, там война!

— Типичная картина дикости, Адочка. И на Земле когда-то бывали такие войны. Битвы двух популяций гарпов со сладостным поеданием побежденных. Не то гражданская война, не то охота за кормом.

— Но ведь они едят и людей, Эдик.

— А почему бы им и не есть людей? Ты видела изображения гарпов? Человек даже по внешнему виду вкусней. Тем не менее задача не попасть чудовищам в зубы не относится к безнадежным. Спустя год я ворочусь живым, здоровым, лишь похудею, но это меня скорей обрадует, чем испугает.

— Не шути, Эдик. Если астронавты просят срочной помощи, значит, им грозит реальная перспектива стать пищей для бестий.

Он понял, что надо отвечать серьезней:

— Есть одно затруднение, Адель, и именно поиски выхода из него и составят мою задачу. Ты знаешь, что астронавтам запрещено использовать убийственное оружие? Они являются в иные миры с миссией мира, так это формулируется. Все древние пушки, автоматы, пистолеты, бомбы простые и ядерные, смертоносные лучи и газы — все они объявлены вне закона и строго запрещены. Вот почему астронавты и просят помощи — на них лезут с жадно распахнутыми ртами, а они не могут ответить ни пулей, ни бомбой. Есть еще вопросы?

— Есть, — сказал Кондрат. — Мы еще не согласились на твой отъезд.

— Думаю, у Мартына возражений не будет. Я не ошибся?

— Не будет. Ты не ошибся.

— А у меня будут, — сердито сказал Кондрат. — Ты астрофизик, а не астросоциолог. Почему же тебя приглашают решать социологические проблемы? Мне непонятна цель твоей командировки.

Эдуард знал, что именно такой вопрос и задаст Кондрат.

— Я не объяснил вам важного обстоятельства. Дело в том, что дикие обитатели Гарпии не только лезут на людей с раскрытыми пастями, но и обстреливают их генерируемыми импульсами.

— Дикари овладели такой техникой?

— Они не производят генераторов, Кондрат. Они сами являются генераторами. Гарпы — живые, разумные или полуразумные — орудия. Они убивают своим естеством, а не с помощью механизмов. Вот так.

Кондрат был порядком озадачен. Я тоже впервые слышал о странной природе гарпов.

— Вижу, вы ошарашены, — спокойно продолжал Эдуард. — Я сам онемел, когда мне продемонстрировали последние данные. О них еще не оповещали, изучение не закончено. И заканчивать его буду я. Как видишь, Кондрат, тема для астрофизика, а не для астросоциолога. Нужно выяснить, как работает боевой организм гарпов. Это бросит свет и на их внутренние распри, и на их свирепую ненависть к людям, и на еще не известные нам возможности творения мощных силовых полей. Понимаешь теперь, что ни как человек, ни как физик я не мог отказаться от командировки на Гарпию?

Кондрат посмотрел на меня, я развел руками. Адель молчала.

Эдуард улетел на базу звездолетов, разместившихся на Марсе, уже на другой день.

Вскоре после его отлета я показал Кондрату график пусковых испытаний ротонового генератора. Что разразится скандал, я догадывался, только не ожидал, что Кондрат так разъярится. Он чуть не набросился на меня с кулаками. К счастью, Адели не было, при ней я не смог бы вытерпеть такую сцену.

— Да понимаешь ли сам, что сделал? — орал Кондрат.

— Понимаю. Составил пусковой график и прошу тебя его утвердить, а потом понесем его нашему общему другу Карлу-Фридриху.

— Врагу, а не другу! — Ирония и в обычные минуты до него доходила плохо, а впадая в неистовство, он совершенно ее не ощущал. — Возможно, впрочем, что он твой друг. Ты это скрывал, но сейчас я тебя разоблачил!

— Выбирай выражения, Кондрат, — посоветовал я.

— Нет, это же черт знает что! — бушевал он. — Я ведь думал, что до испытаний месяца два, ты так ловко уклонялся назвать точную дату. А дата завтра! И мы отпустили Эдика! Да знай я, как близки испытания машины, разве он выпросил бы моего согласия на отъезд?

— Обойдемся. Мы с тобой тоже чего-то стоим.

— Я настаиваю на честном ответе! Ты знал, как близок пуск, и намеренно молчал, чтобы я не задержал Эдика. Зачем ты это сделал, можешь сказать?

— Могу Кондрат. Это же так естественно. Чтобы помешать успеху наших экспериментов, навредить самому себе. Другого объяснения ты, кажется, не примешь.

Он уже не кричал, а шипел:

— Ладно, издевайся! Насмешки твои — камуфляж, я давно заметил.

— Выбирай выражения, Кондрат, — кротко повторил я. Мной тоже овладела ярость.

— Мартын, дело не в выражениях! Я понял твою суть!

— Что же ты понял, скажи на милость?

— Никакой милости! Ты сознательно усложнил нашу работу. Я не верил Адели, теперь верю. Боишься, что вся слава достанется мне, и теряешь охоту работать со мной. Успокойся, все, что заслужишь, то и получишь сполна.

Я вплотную подошел к нему. Он замолчал и отодвинулся.

— Дурак ты, Кондрат! — сказал я, — И твоя Адель не блещет проницательностью. Теперь я ухожу к себе. И пока ты не воротишься в сознание, не смей заходить ко мне. Слышишь, Кондрат? Пока не обретешь ясность мысли, открывать мою дверь запрещаю!

12

Ссора с Кондратом потрясла меня. Небольшие стычки уже бывали, Кондрат слишком горячо воспринимал всякую неполадку, а мы все же строили еще невиданную установку, такие дела без неполадок не обходятся. И после одной рабочей стычки мы договорились: каждый ведет свое дело особо, лишь информируя других о результатах. Конечно, выпадали и общие дела, пусковые испытания ротонового генератора как раз относились к таким, но их было немного. Разделение функций в какой-то момент стало необходимо для сохранения в лаборатории согласия. Моя совесть не испытывала угрызений. Я не показывал пусковой график генератора, ибо имел право не оглашать незавершенную программу. Что мое умолчание совпало с отъездом Эдуарда, было случайностью, а не сговором: он заторопился, узнав о графике, но сам я не наталкивал его на отъезд.

Зато не случайной была вспышка Кондрата. Раздражение в нем накоплялось исподволь, он лишь выплеснул его, получив повод. И я сидел в своем кабинете и думал о том, что никогда у нас с Кондратом не было тесной дружбы, а сейчас немыслимо восстановить и прежние прохладные связи. Он оскорблял меня, зная, что оскорбляет. Остынув, он извинится, но можно ли принять извинения? Извинения — слово, оскорбление — дело. Не лучше ли уйти из лаборатории, пока взаимное раздражение не превратится в ненависть?

Дверь отворилась, и вошла Адель.

— Не ждал? — спросила она и встала у окна. Сидя, она не так смотрелась и редко об этом забывала. Демонстрация красивой фигуры являлась у нее одним из аргументов в спорах. Красота имеет свои привилегии, и часто не меньшие, чем логика рассуждений.

— Не ждал. Ты пришла мирить нас?

— Для чего же еще?

— Для примирения должен прийти сам Кондрат, а не ты.

— Он и придет, когда ты успокоишься. Ты ведь запретил ему открывать твою дверь. На меня запрещение не распространялось. Вот я и пришла.

— Адель, это чепуха какая-то. Успокоиться нужно ему, а не мне.

— Вам обоим, так точней.

— Считай, что я уже успокоился. Что теперь?

— Теперь я вызову его, и вы пожмете друг другу руки.

Она сделала шаг к столу. Я остановил ее. Она немедленно воспользовалась этим.

— Вот видишь, ты еще не готов к примирению.

— Не готов, — с горечью признался я. — Слишком уж тяжко он обидел меня. Собственно, не он один, ты тоже. Кондрат рассказал, как ты толкуешь наши отношения. Повторить?

— Не надо. Он подробно описал вашу стычку. И я пришла к тебе, чтобы ты судил обо мне не только с его слов.

— Ты думаешь, это лучше? Такое чудовищное обвинение — в зависти и намеренной задержке работы.

— Давай расчленим эти два пункта, Мартын. Первое относится ко мне, другое — выводы одного Кондрата. Итак, зависть. Тебе не понравилось, что я так сказала?

— По-твоему, это может понравиться?

— А тебе нужно, чтобы все только нравилось? Ты слишком много требуешь от жизни. В ней не все может нас услаждать.

Я начал терять терпение. Мне было не до абстрактных рассуждений.

— Адель, пойми меня...

— Я тебя понимаю, Это ты не хочешь меня понять! Да, я говорила о зависти. Но как? Ты разве забыл, что тон делает музыку? Тона Кондрат не передал. Мартын, ты не знаешь Кондрата. Он кажется твердым, решительным, целеустремленным, нетерпимым до грубости, до неуважения друзей. Какое заблуждение! Он совсем иной. Он неустойчив, нерешителен, вечно в себе сомневается, постоянно обвиняет себя в ошибках, в неумелости. Во время одного такого приступа подавленности я утешала его. Ты, говорила я ему, ставишь себя ниже всех, завидуешь, что Мартын так логичен, так честен, так целеустремлен, что Эдуард так весел и широк душой, а ведь они ставят тебя гораздо выше себя, по-хорошему завидуют твоему таланту, тому, что именно ты придумал модель энергетической установки, а они лишь исполнители твоих проектов. Вот так я говорила о зависти. Мартын, о хорошей зависти одного таланта к другому, о зависти, порожденной уважением и высокой оценкой. Разве это не меняет дела?

— Меняет. Но только относительно тебя. А в сознании Кондрата твои рискованные утешения так трансформировались...

— В ссорах хватаются за оружие, которое сильней разит. Ты должен понимать логику ссоры.

— Но мне, несправедливо обиженному, не легче от того, что я понимаю, почему возникла несправедливость.

— Ему тоже нелегко. Обижать и быть обиженным — одинаково скверно на душе. Ты сейчас в этом убедишься. Я вызываю Кондрата.

Кондрат вошел смущенный, с растерянной улыбкой. Он готов был просить прощения за грубость, нужные слова были заранее обговорены с Аделью. Я не дал ему ничего сказать — протянул руку, мы молча стиснули наши ладони. Так было лучше.

Так было лучше, конечно. Я и сейчас в этом уверен. Но молчаливое прощение не высветляет всех хитросплетений чувств. Дружеское пожатие рук поступок, а не объяснение. Что-то у нас с Кондратом надломилось. Он выглядел прежним, но я опасался новых стычек.

Нет, не могу сказать, что работа шла неудачно. Мой маленький генератор давал устойчивый пучок ротонов. Пришел черед вводить ротоны в энергетическую установку. Разрабатывал ее сам Кондрат, мы только помогали — Адель вычислениями, я при монтаже. Установка была, конечно, сложна, но Кондрат слишком уж затягивал ее пуск. Я сказал Адели, что нельзя так тянуть, монтаж надежен, проект добротен — что еще?

— Страшно подумать, что случилось бы, если бы пуск установки задерживал не он, а я.

А когда состоялся затянувшийся пуск, мы трое были измотаны вконец. Мы сидели и смотрели на стенд, на нем сияли две лампочки — пока единственные потребители энергии, полученной от манипуляции с внутриядерным пространством согласно теории Прохазки — Сабурова. Так мы теперь называли идеи, положенные в фундамент нашей конструкции. Ни на что другое, кроме как сидеть и молчаливо любоваться тусклым сиянием двух лампочек, нас попросту не хватило.

В лабораторию пришли Огюст Ларр и Карл-Фридрих Сомов.

— Великолепно, друзья мои! — порадовался Ларр. — Человечество в вашем трехликом облике продвинулось вперед на шаг.

— Пока шажок, — отозвался Кондрат. — И почему трехликий облик? Нас четверо. Откомандированный на Гарпию Эдуард Ширвинд — полноправный член нашего коллектива.

— Да, еще Ширвинд. Он скоро прилетит, юные друзья. Нехорошо на Гарпии, очень нехорошо. Такие странные проблемы поставили перед нами гарпы... Вот вернется ваш друг, узнаем подробно, что там происходит.

Сомов деловито осведомился:

— Сколько тратится энергии на возбуждение ротонового пучка и сколько энергии выдает энергетическая установка?

Ему ответил Кондрат:

— Вас интересует коэффициент полезного действия? Ротоновый генератор конструкции Мартына Колесниченко потребляет сегодня около десяти киловатт. Энергетическая установка моей конструкции выдает, как вы видите по накалу этих лампочек, около ста ватт. КПД — одна сотая.

— А по вашим расчетам, должно быть, если не ошибаюсь...

— Вы не ошибаетесь! В десять тысяч раз больше. Мы исходим в проекте из того, что установка на киловатт затраченной мощности должна обеспечить на выходе не меньше ста киловатт. Почти вечный двигатель! Вечный в смысле высочайшей эффективности.

Они ушли. Мне не понравился вызывающий тон Кондрата. Он так ненавидел Сомова, что технической справке придал характер дерзкого отпора. Я все же промолчал, но Адель не выдержала:

— Зачем ты так с Сомовым? Да еще в присутствии Ларра!

— Сомова нужно ставить на место! — зло ответил Кондрат. — И именно в присутствии Ларра! Неужели ты не поняла смысла его ехидного вопроса? Вот, мол, обещали стократную выдачу от затрат, а что реально? Сомов был нам врагом и останется им!

— Пойдемте домой, друзья, — сказал я. — Ужасно хочу спать. А завтра начнем тихонько поднимать эффективность с одной сотой до обещанной полной сотни.

Ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц не было подъема эффективности. Установка работала все в том же первоначальном режиме. Кондрат снова и снова задавал один и тот же съем энергии. Все так же тускло тлели две лампочки на стенде. Мне они стали даже сниться, до того надоел их жалкий свет.

— Впечатление, будто ты боишься менять режим, сказал я однажды.

— Боюсь, Мартын, — признался Кондрат.

— Чего боишься?

— Сам не знаю чего! Просто боюсь.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

— Скажи тогда, сколько времени отводишь на боязнь. Хотелось бы, чтобы свой беспричинный страх ты как-то планировал во времени.

Он засмеялся.

— Адель твердит то же, что и ты, Мартын. Не терпится вам поскорей добиться славы. Но мы все плохо знаем себя. Думаем о себе одно, а на практике получается другое. Отсюда нередки саморазочарования.

— Не понял. Выпусти свою философскую сентенцию вторым изданием. Для широкого пользования и со списком опечаток.

Теперь мы хохотали оба. Кондрат сказал:

— Вы с Аделью правы. Я слишком затягиваю испытания. Завтра начну прибавлять энергию.

Он выполнил свое обещание. Неконтролируемые вспышки эмоций в нем соединялись с жесткой педантичностью. Иногда Кондрат говорил, что завидует моей дотошности и моему спокойствию. В спокойствии я его, естественно, превосходил, но в научной дотошности уступал. Он неделю каждодневно увеличивал съем энергии на одну сотую потребляемой. Вскоре уже гирлянды лампочек не хватало, чтобы потребить все, что выдавала энергетическая установка. Кондрат стал возвращать энергию в генератор, возбуждающий ротоновый поток. Соответственно уменьшалась потребность в посторонней энергии для генератора. Наступил воистину торжественный день — энергия, потребляемая генератором, сравнялась с энергией, выдаваемой установкой. Мы создали замкнутый цикл: производили энергию для того, чтобы потребить ее для этого самого производства.

Давно не было в нашей лаборатории так радостно, как в тот день.

— Мне вспоминается сказочка о бароне Мюнхгаузене, — шутила Адель. Помните, барон сам себя вместе с конем вытащил из болота, потянув руками за косичку. Столько веков человеческая техника не могла повторить блистательного подвига этого великого барона. А мы сумели! Мы ухватили себя энергетически за волосы и держим на весу. Чуть добавим энергии и потащим себя наверх.

Я повторил шуточку Адели по-своему:

— Сколько веков человечество мечтало о вечном двигателе, производящем энергию из ничего. А что такое вакуум, из которого мы высасываем ротоны? Типичное же ничто! Не знаю, как вы, а я претендую на почетное звание «Изобретатель реального вечного двигателя».

Мы посмеялись. Потом Кондрат сказал:

— Нам еще долго работать без выдачи энергии на сторону. Пока всесторонне не изучим процесс, кричать об успехе не будем. Ведь есть еще такая проблема — техника безопасности.

Адель говорила, что нет смысла таить удачу, раз удача несомненна. Но я поддержал Кондрата. Все может быть, любая непредвиденность. Нужна не убежденность, а несомненность — это вещи разные.

Непредвиденности обнаружились очень скоро. Прилетел Эдуард и вызвал смятение в наших душах. И Кондрат обнаружил ошибку в своих вычислениях, столь важную и столь трагичную, что все впереди стало видеться по-другому...

Я снял датчики, закрепленные за ушами. Мыслеграф перестал записывать воспоминания. Я очень устал от ворошения картин прошлого, от заново переживаемых, вовсе не перегоревших чувств.

13

Утром, сев за стол и прикрепив датчики мыслеграфа, я велел себе думать о вернувшемся Эдуарде Ширвинде.

...Он с шумом ворвался в лабораторию, обнял и расцеловал каждого. Адель ужаснулась:

— Эдик, ты же обещал похудеть, а стал таким толстяком!

Эдуард, и до отъезда полный, очень добавил веса. Но живости у него не убавилось. Он бегал по всем помещениям, трогал механизмы и приборы, с восхищением осмотрел мой ротоновый генератор, об энергетической установке с уважением сказал: «Ошеломительно и сногсшибательно! Предлагаю на постаменте нашего общего монумента поставить ее модель впереди, а мы вокруг. Если, конечно, вы еще не надумали лишить меня почетного местечка, что из-за моего бегства к проклятым гарпам было бы справедливо».

Кондрат со смехом успокоил его:

— Местечки на памятнике зарезервированы для всех.

Эдуард позвал нас в свой кабинет, самое большое, из непроизводственных помещений лаборатории, и радостно сказал, что мы молодцы: ничего не переставили и не добавили, не вынесли и даже, кажется, не вытирали пыль.

— Пыль вытирали, я сама это делала, — сказала Адель. — И открыла закономерность: в твоей комнате больше всего скопляется пыли.

— Это оттого, что она была пустая. Разве ты не знала, что пустота притягивает пыль? С чего начнем, друзья? Будете воспевать свои достижения или разрешите мне покаяться в грехах?

— Кайся! — предложила Адель. — Ужасно люблю истории о прегрешениях. Надеюсь, их у тебя много?

— Вполне хватает, чтобы потерять надежду на рай. Начнем с одного из семи смертных грехов — греха чревоугодия. Как видите, я не злоупотребляю постом. Потому что выпадали недели, когда мы питались одним собственным жирком. Как человек предусмотрительный, я делал надежные запасы. На Земле теперь порастрясу излишки.

Он, впрочем, всегда обещал в ближайшее время похудеть и всегда не худел, а полнел.

— Жизнь на Гарпии определяют гарпы, — продолжал Эдуард. — Даже на Гарпии не знают о гарпах всего. Эти бестии — загадки. Быть может, только один человек в мире способен сказать о гарпах хоть и не все, но что-то существенное.

— Этот человек, разумеется, ты? — засмеялась Адель.

— Естественно! Рад, что ты меня понимаешь. Мне было поручено изучить Гарпию и гарпов. Мог бы я вернуться на Землю, если бы не выполнил с блеском задания? Теперь смотрите вон на ту стену, я сфокусирую на нее стереокартины этой страшноватой планеты.

Одна из стен кабинета вполне годилась быть приличным экраном, Эдуард и раньше использовал ее для этой цели. Первые снимки Гарпии ужаса не внушали. Планета была неудобная, но не страшная: в морщинах горных хребтов с долинами и впадинами, для которых подходило лишь одно название «бездны», с тусклым небом и катящейся в нем Церерой, звездой из самых свирепо-голубых. В небе редко сгущались тучи — так, мерцали легкие облачка. Но воды хватало, вода била из грунта, рушилась в пропасти, а на высоких вершинах каменела массивными ледяными шлемами. И воздух, хоть и разреженней земного, содержал кислорода больше. Даже в окрестностях Солнечной системы звездопроходцы осваивали местечки понеудобней и пострашней.

— Я вижу, вы не прониклись ужасом от лицезрения планеты, — со вздохом проговорил Эдуард. — Ну что ж, еще добавлю хорошего впечатления. Гарпия безмерно богата изотопами редких элементов. Мы на заводах вырабатываем их килограммами, а там тонны их можно собирать на поверхности. Скажу тебе особо, Адочка. Я привез изумруд, которого и в музее не найти! Когда его отшлифуют, буду просить тебя украсить им свое платье или волосы, тут я всецело полагаюсь на твой вкус. Вот такова Гарпия, друзья!

— Изумруды — это хорошо, но где же ужас?

— Ты жаждешь ужасов, Мартын? Получай ужас!

Нападение страшилища Эдуард разыграл безукоризненно.

Он скомбинировал несколько снимков, чтобы получить сюжетное событие. Из-за скалы выполз гарп, остановился, осмотрелся, зевнул, увидел нас и бешено ринулся в комнату, распахнув зубастую пасть. Адель отшатнулась и вскрикнула.

— Эдик, останови! — рявкнул Кондрат.

Гарп замер на прыжке, он был в комнате, а не на стене. Но не на полу — повис в воздухе взлетевшим живым телом. Я вскочил и толкнул рукой его рыжее бронированное туловище. Рука вошла в броню без сопротивления. Эдуард ликовал, как ребенок, дорвавшийся до вожделенной игрушки. За мной подошел к зверю с протянутой рукой Кондрат, потом и Адель набралась храбрости собственными пальцами установить, что в комнате лишь изображение.

Да, гарп был из внушающих почтение, Эдуард подобрал нерядовой экземпляр. Все на Земле знают, что гарпы напоминают наших вымерших крылатых ящеров, хотя и бескрылы. Мне показались всего удивительней лапы: их было шесть, и каждая смахивала на двойные челюсти — верхняя оснащена десятью гибкими и очень прочными когтями, а нижняя похожа на совок или лопату. Морда гарпа нас не удивила — видели и раньше в стереопередачах: огромная пасть, сотня зубов, колющих, режущих, размалывающих... Даже камни можно дробить такими зубами! В общем, бестия, какой и в незапамятные времена не водилось на нашей смирной Земле. А глаз не было. Вместо глаз на голове гарпа, как раз над пастью, торчала рыжая опухоль — орган для локации и нападения.

Эдуард устроил еще одну неожиданность: от гарпа пахло. От него несло острым ароматом озона и чеснока. Я бы сказал, что гарп пахнет, как мокрая собака, только сильней.

— Специально для вас! — ликовал Эдуард. — Вот так воняет от каждого, при нападении зажимай покрепче нос, иначе не вынести. Я попросил ребят снабдить изображение запахом живого зверя, они постарались, как видите.

— Как обоняет, — поправил я. — Эдуард, ты не мог бы убрать свой зубастый экспонат? Он занимает добрую треть комнаты, а ходить сквозь него никто не решится.

Эдуард поворчал, что три земных месяца каждый день видел гарпов, каждый день дышал их убийственным ароматом, каждую минуту страшился попасть под силовой импульс их боевых генераторов и собирался передать нам хоть ничтожную долю своих ощущений, а мы не проявляем желания даже отдаленно посопереживать.

— Ты передашь нам свои ощущения словами. Говорить ты мастер, а мы обещаем быть добрыми слушателями. Начинай лекцию о природе гарпов и о твоей личной роли в благоденствии этого хищного народца.

Ширвинд строго разделил природу гарпов и свою роль в их истории. Многое в его информации мы знали и раньше, многое слышали впервые. Эдуард был зорким наблюдателем, недаром его выпрашивал звездопроходец Семен Мияко. Гарпы отнюдь не искусственные создания, палеонтологи уверяют, что на планете они появились миллионы лет назад, продолжая эволюцию существовавших до них тварей. И бурно эволюционировали сами, хотя и весьма необычно. Любой внутренний орган гарпа — силовой аппарат. Они совмещают в теле генераторы электрических и магнитных зарядов, оптические локаторы, гравитационные и лазерные органы и многое другое, еще неизвестное. Даже челюсти их необыкновенны: каждый зуб — резонаторное оружие, генерируемая зубами вибрация быстро разрушает любую добычу. Лапы, совмещающие в себе когти и совки, также служат и для захвата, и для вибрации. Астронавты как-то метнули в гарпа десятикилограммовую гантель, зверь поймал ее пастью, и не прошло минуты, как голову гарпа окутала черная пыль закаленный металл на глазах превратился в порошок. Полет этих бестий явление настолько необычайное, что ничего даже отдаленно похожего еще нигде не встречалось. Сама Гарпия — планета сильных физических полей. В недрах таятся очаги ядерных реакций, вулканы выбрасывают не огонь и дым, как наши, а струи радиоактивных ядер, генерируют опасные излучения. А в целом Гарпия представляет собой как бы гигантский магнит, но с чудовищно перепутанными магнитными линиями. Она вроде нашего магнитофона, пластинки, на которой сотни разбросанных магнитиков. Гарпы умеют так сгущать в своем теле магнитные линии и так их ориентировать, что с силой отталкиваются от места, над каким проносятся. Для полета им не требуется ни опоры на воздух, ни такого примитивного органа, как крылья.

— Энергия на возбуждение в теле отталкивающих полей, наверно, не меньше, чем у птицы на махание крыльями, — заметил Кондрат.

— Больше. И значительно больше! Поэтому они неутомимо выискивают и жадно поглощают пищу. А пища — растения и животные, некоторые камни и грунт. Думаю, те несчастные астронавты, которые угодили в пасти гарпов, показались им восхитительной закуской. Недаром они так свирепо охотятся на людей.

— Гарпы — каннибалы, — сказала Адель. — Они роскошествуют над телами своих товарищей.

— Они, конечно, каннибалы, но не пиршествуют, пожирая своих, а совершают необходимую жизненную операцию. Без поедания друг друга гарпы не могут существовать. И я горжусь, что первый раскрыл это.

— Ерунда какая-то! — не выдержал я. — Сколько знаю, гарпов относят к полуразумным, интеллектуально они выше обезьян и дельфинов. Ты еще скажешь, что и начатки разума у них оттого, что они пожирают один другого?

— Именно это и говорю, — с торжеством объявил Эдуард, — Уверяю вас, друзья, я хорошо поработал на Гарпии. Теперь громко восхваляйте мою проницательность. Без восторженного одобрения рассказ не пойдет.

Восторженного одобрения не было, но слушали мы с интересом. Эдуард обнаружил, что странный организм гарпов является, по существу, неуничтожаемым достоянием всей популяции. В любом гарпе присутствуют материалы, извлеченные из тысяч его прапредков, и само его тело хранилище этих материалов для последующих поколений. Гарп не превращается в прах, а эффективно используется другими гарпами. Различия полов у гарпов нет, каждый создает детенышей самостоятельно, но сам по себе гарп не способен народить потомство. Вот если дватри гарпа сожрут другого, то их тела переполняются элементами сожранного и может появиться потомок. Новосозданный гарпенок почти не растет, пока не примет участия в пожирании соседа. После десятка таких актов каннибализма гарп становится взрослым и особенно агрессивным, ибо приходит пора размножаться, а без пожирания других гарпов потомства не создать. Жертвой обычно становится постаревший гарп, но и молодому не поздоровится, если зазевается. Каннибализм, стало быть, естественная предпосылка роста и размножения. Общество гарпов напоминает мифическую змею, которая питалась тем, что поедала свой непрерывно отрастающий хвост.

— Иначе говоря, жизненная энергия гарпов создается каннибализмом, так я тебя понял? — спросил Кондрат.

— Ты плохо меня понял, дружище Кондрат. Жизненную энергию эти бестии черпают из обычной своей пищи. Но как особое существо гарп создается лишь поглощением такого же существа. Первые астронавты, кормившие детенышей гарпа всеми видами пищи, какие у них были, с изумлением наблюдали, что гарпята не погибают и не растут. А неосторожность астронавтов приводила к тому, что для гарпят они сами становились желанной пищей.

— Зачем же гарпам поедать людей, если обычной пищи вдоволь? спросила Адель.

— Вот первый вопрос, свидетельствующий о проницательности, торжественно возвестил Эдуард. — И ответом будет второе мое замечательное открытие. Я выяснил, что люди для гарпов частично заменяют съедаемых сородичей. Что именно они извлекают из тканей человека, пока не выяснено, но гарпята, расправившиеся с неосторожными астронавтами, быстро росли, а не только пребывали в затянувшемся детстве.

— Тебе не приходила в голову идея практически проверить, так ли это? — поинтересовался я.

— Как видишь, я жив. Следовательно, не пожертвовал собой ради проверки такой идеи.

— Но если мы для них не только лакомая, но и необходимая пища, то не лучше ли покинуть эту страшную планету?

— Второй умный вопрос. Люди не могут покинуть Гарпию. И не только потому, что она сказочно богата редкими минералами и металлами высокой чистоты. Наша земная промышленность достаточно мощна, чтобы производить любые материалы. Но на Гарпии есть то, что наша промышленность пока не освоила. Я уже говорил о редких изотопах химических элементов. Так вот, среди них есть такие, которые даже в наших лабораториях не созданы. И когда их в достаточном количестве доставят на Землю, совершится новый промышленный переворот. Гарпия обеспечит подъем всего нашего общества на новую технологическую ступень. Таково значение этой удивительной планетки.

— Неужели невозможно какое-либо содружество людей и гарпов? спросила Адель. — И если не содружество, то хотя бы нейтралитет, осторожное соседство.

— Еще один умный вопрос! И на него отвечает мое последнее и самое значительное открытие. Добрососедство с гарпами исключено. Дело в том, что они расселены не по всей планете, а концентрируются группками в особо укромных местах. И вот я установил, что места их поселения — кладези сокровищ. Гарпия — что-то вроде уникального космического реактора, выплавляющего в своих недрах все возможные изотопы всех возможных химических элементов. И как на Земле существуют районы ценных оруденений, так на Гарпии типичны районы интенсивной концентрации изотопов. Их и заселили гарпы. Наверно, существует какая-то важная причина, почему их тянет к этим местечкам, но я ее не открыл. Во всяком случае, промышленное освоение Гарпии невозможно без выселения гарпов из их гнездовищ. О добровольном переселении говорить не приходится.

Адель взволнованно воскликнула:

— Но это значит!..

— Совершенно верно! Война с гарпами.

— Истреблять этих необыкновенных зверей?

— К тому же не зверей, а полуразумных, возможно, и полностью разумных, — сказал Кондрат. — Я слышал, что гарпы разбирают нашу речь, различают подаваемые знаки, быстро оценивают ситуацию. Не исключено, что скоро с ними можно будет разговаривать.

— Не исключено, — хладнокровно согласился Эдуард. — И допускаю, что разговоры будут содержательными. С единственным добавлением, что один из дружелюбных собеседников может оказаться в пасти у другого.

Я повернул спор в другую сторону:

— Ты рассказал о гарпах много удивительного. Самое удивительное — их внутренние органы. Имею в виду биологические генераторы магнитных, гравитационных и других полей. Будет преступлением, если мы не изучим их. А как это сделать без добрососедства?

— Четвертый умный вопрос. Ты прав, гарпов необходимо изучить, ибо ничего похожего не открыли на других планетах. И для этого нужно добрососедство. Добрососедство обеспечит война между людьми и гарпами.

— Ты рехнулся! Войны всегда усиливали взаимную неприязнь.

— Смотря какая война, Мартын. Между людьми — да. Но не между людьми и зверями. Приведу пример. Когда-то было чересчур много тигров и люди были для них добычей. Но люди победили, свели популяцию тигров к приемлемому количеству. И что же? Тигры нынче отлично сохраняются в своих резервациях, люди способствуют их существованию. Чем не добрососедство?

— Ты собираешься загнать гарпов в резервации? Но какие? Ты же хочешь очистить их гнездовья!

— Сократив поголовье гарпов, скажем, вдесятеро, мы очистим много гнездовий да еще ликвидируем каннибализм. Ты забыл, что каждая новая генерация гарпов содержит в себе вещества, накопленные сотнями поколений их предков. У гарпов нет трупов, любая частица их тела используется в следующих генерациях. Законсервируем всех гарпов, погибших в войне. Оставшимся не будет нужды поедать друг друга, они будут питаться законсервированными телами. И соответственно, у них пропадет потребность охотиться на людей. Чем не надежная основа добрососедства: мы поддерживаем оставшихся гарпов необходимой для них пищей — запасами, накопленными в войне. Досконально изучаем природу гарпов, чтобы воспользоваться преимуществами их организма в нашей практике. Одновременно изобретаем заменитель той пищи, которую обеспечивает им каннибализм.

— Отличная программа! — гневно сказал Кондрат. — Даже для вождя воинственных дикарей она вполне бы подошла. Но как ты намерен осуществлять такую программу? Что для этого требуется?

— Во-первых, право вести войну. Во-вторых, оружие, чтобы иметь успех в войне.

— И ты вернулся на Землю, чтобы решить эту проблему?

— Ты угадал, Кондрат.

— Хочешь отмены запрета на производство и применение старых орудий истребления?

— Разве я давал повод считать меня глупцом? Запрет двести лет назад был утвержден человечеством, только все человечество может его отменить. И только в случае, если на Землю нападут враждебные инопланетяне. Освоение Гарпии и нападение инопланетян не имеют ничего общего между собой. Нет, у меня иной план.

— Не поделишься?

— Не только поделюсь, но попрошу помощи. Закон запрещает уже изобретенное оружие. Но не запрещает создавать еще неизвестное.

— Это подразумевается.

— Ты ошибаешься. Невозможно запретить создание нового оружия, ибо это равнозначно запрещению всех новых изобретений. Кто заранее определит, как используют еще не открытое открытие, еще не изобретенное изобретение? Открывали новые явления, изобретали новые механизмы — потом догадывались, что они годятся для войны. Динамит изобрели для мирных дел, а в результате лишь добавилось средств войны. Физики двадцатого века открывали атомную энергию на благо человечеству, а раньше блага появилась атомная бомба. Первые космонавты устремились в космос во имя торжества науки, а генералы воспользовались их успехами для размещения в космосе боевых станций. Так это было в прошлом — одни творили добро, другие превращали добро во зло. Две стороны одного процесса. В условиях разобщения человечества строгий запрет производства оружия и уничтожения уже созданного стали необходимостью. Но теперь человечество едино. Войны между людьми невозможны. И если мы разработаем новое средство справиться с гарпами, то это не нарушит старого закона, а принесет пользу и человечеству, и самим гарпам. Вот о чем я хочу говорить.

— Слушай, Эдуард, — сказал Кондрат, сильно волнуясь, — Ты, конечно, можешь говорить о чем хочешь. Но в моей лаборатории я не позволю развивать такие идеи. Помощи от меня не жди.

Впервые Кондрат сказал «моя лаборатория», да еще так вызывающе. До сего дня я слышал только: «Наша лаборатория».

14

Уж не знаю, что особенно повлияло на Кондрата: то ли агрессивные рассуждения Эдуарда, то ли восхищение, с каким на него смотрела Адель, а всего вероятней, сложились обе эти причины. Только Кондрат переменился. Общение с ним никогда не доставляло удовольствия: неразговорчив, не острит, плохо слушает, вечно погружен в раздумья, часто раздражается и в раздражении грубит. Все это мелочи, конечно. Выражение «великие люди» отнюдь не равно выражению «приятные люди». Мы трое, его товарищи и помощники, не сомневались, что наш руководитель — великий ученый, во всяком случае, будет таким. И прощали Кондрату многое, чего от другого не потерпели бы. В общем, примирились.

Но с тем, что задумал Кондрат вскоре после возвращения Эдуарда, примириться было нельзя.

— Нам надо поговорить, — сказал он, придя ко мне.

— Валяй. Что-нибудь новое на установке?

— Пока не на установке, а вообще в нашей лаборатории.

Хорошо помню, что я механически отметил про себя странное словечко «пока». Оно звучало как предупреждение о чем-то, чего не должно быть. Кондрат выглядел необычно. Хмуростью и сосредоточенностью он бы не удивил, таким он бывал повседневно. Но злоба, вдруг обрисовавшаяся на лице, меня поразила. Злобным я Кондрата не знал.

— Поговорим об Эдуарде, — сказал он.

— Поговорим об Эдуарде, — согласился я.

— Он воротился с Гарпии, Мартын.

— Правильное наблюдение. Я это тоже заметил.

— Перестань иронизировать! Можно с тобой по-человечески?

— Можно. Слушаю человеческое объяснение.

— Эдуарда надо принимать в лабораторию. Мы так обещали ему.

— Верно. Он не увольнялся, а откомандирован на время. Он должен вернуться. С моей стороны никаких возражений.

— У меня возражения. Я не хочу Эдуарда.

— Не понял. Как это не хочешь? Вообще не хочешь Эдуарда?

Он усмехнулся.

— Не вообще, а в частности. Вообще — пусть живет и здравствует. Но не в нашей лаборатории. Хотел бы, чтобы ты меня поддержал.

— Это связано с Аделью?

— Нет.

— С чем же тогда?

— Эдуард мне неприятен. Это самое честное объяснение.

— Честное, но недостаточное.

— Уж какое есть...

— Давай поставим все нужные вехи, — предложил я. — Значит, твоя нынешняя неприязнь к Эдуарду вызвана не ревностью?

— Ревности нет, я сказал. Конечно, слушать, как она восторгается умом и смелостью Эдуарда, будто бы проявленной им на Гарпии... Но я бы стерпел. Мартын, мы с Аделью охладели друг к другу.

— А была ли прежде горячность?

— Возможно, и раньше не было. Ты наблюдателен и, вероятно, со стороны видел то, чего я не замечал. Но что бы ни было у нас в прошлом, сейчас того нет. Содружество есть, любви нет.

— Не много для семейного союза.

— Мне хватает. Возвращаюсь к теме. Ты меня поддержишь, если я объявлю Эдуарду, что ему нечего делать в нашей лаборатории?

— Одно уточнение. Ты скажешь Эдуарду, что против его возвращения в наш коллектив, потому что он стал тебе нетерпим?

— С какой стати оскорблять его? Он никогда не имел четко очерченной своей роли в нашем деле. Я скажу, что мы уже обходимся без него, пусть он использует свои способности в других местах.

— В таком случае, не поддержу. Я за возвращение Эдуарда.

Возможно, Кондрат ждал такого ответа. Он с минуту молчал.

— Итак, ты против. Может, объяснишь, почему?

— Объясню, конечно.

И я сказал, что примирился бы с отстранением Эдуарда, если бы Кондрата мучила ревность. Из недобрых человеческих чувств ревность — одно из непреодолимых, с этим нельзя не считаться. Древний мудрец с горечью восклицал: «Жестока, как смерть, ревность; стрелы ее — стрелы огненные». Можно тысячекратно осуждать ревнивцев, но нельзя не понимать, что ревность превращает соперников во врагов. Дружная работа у таких людей не получится. Но Кондрат сказал, что ревности нет. Просто по неизвестной мне причине Эдуард стал неприятен Кондрату. Мало ли кто кому приятен или неприятен! Разве это повод, чтобы отстранять человека, который немало потрудился с нами? Кто оправдает такой поступок? Не скажут ли, что в ротоновой лаборатории не захотели делить с товарищем предстоящий успех?

— Ты боишься, что тебе бросят в лицо подобное обвинение?

— Боюсь, что я сам брошу себе в лицо подобное обвинение.

— Не хочешь поддержать мое желание?

— Будем различать разумные желания и прихоти. Разумные желания поддержу. Прихоти — нет.

— Ты ясен, — глухо процедил Кондрат и вышел.

15

Внешне Кондрат успокоился. Об удалении Эдуарда из лаборатории речи больше не было. Зато сам Эдуард появлялся редко, у него хватало забот с доведением своего плана освоения Гарпии до всеобщего ознакомления. Адель часто сопровождала Эдуарда на публичные доклады о Гарпии. Эдуард нашел сторонников. Большинства они по добирали, но народ все был активный горячо ратовали за колонизацию богатой сырьем планеты.

Бывали дни, когда в лаборатории находились только мы с Кондратом. Вспоминая то время, я отмечаю два новшества, отнюдь не показавшиеся мне особо примечательными. Об одном новшестве я уже упоминал: в кабинете Кондрата появились портреты физиков двадцатого века — Фредерика Жолио и Энрико Ферми. Добавлю лишь, что я часто заставал Кондрата на диване в глубокой задумчивости. Он не отрывал взгляда от Жолио и Ферми и о чем-то размышлял. Ни разу не замечал, чтобы он хоть толику внимания уделил висевшим над столом портретам Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. Я как-то опять спросил, чем вызвано такое непрекращающееся внимание к ним. Он буркнул:

— Никакого внимания! Просто отдыхаю.

И вторым новшеством было то, что Кондрат стал предаваться лицезрению энергетической установки. Она была его единоличным творением, как ротоновый генератор моим. И мы возились с ней, как и он, Эдуард и Адель возились с моим генератором. Но это была помощь создателю, а не равноценное участие в создании. Не знаю солгал ли он, что не ревнует Адель к Эдуарду, но что он ревновал нас всех к своей работе, знаю твердо. В течение долгого времени наш интерес к главному аппарату лаборатории ограничивался риторическим вопросом: «Как там у тебя, Кондрат?» и вполне удовлетворялся туманным ответом: «Да ничего. Работаю».

Вероятно, нас всех устраивало то, что Эдуард называл «Кондратовой хлопотней». Молчаливость чаще всего сопряжена с медлительностью. Кондрат опроверг собой эту расхожую истину. Он был молчалив, но деятелен. Не скор на движения и решения, а именно деятелен, то есть непрерывно что-то делал: ходил вокруг установки, поднимался на нее, трогал то одну, то другую деталь, проверял подвижность исполнительных механизмов, точность настройки датчиков. Меньше всего такую «хлопотню» можно было обозначить холодноватой формулой «лицезрение».

А сейчас мы увидели нового Кондрата — не хлопочущего, а лицезреющего. Точнее определения просто не подберу. Он прислонялся к стене помещения или садился на скамью и озирал громоздкое собрание механизмов, приборов, кабелей и трубопроводов. Иногда — возможно, чтобы не привлекать нашего внимания — он вставал, до чего-то дотрагивался рукой и опять садился и смотрел, только смотрел, будто что-то его поражало во внешнем виде созданного им сооружения. И я замечал, проходя мимо, что чаще всего он всматривался в верхний шар, увенчивающий установку. Это был преобразователь. Здесь принимался поток ротонов от моего генератора, здесь он преобразовывался в те формы энергии, какие мы хотели получить. Но просто смотреть на преобразователь было делом пустым, он был забронирован фарфоровой оболочкой: если что и нарушалось внутри, то на оболочке это не сказывалось. Лицезрение фарфорового шара само по себе значения не имело Кондрат размышлял о чем-то ином.

Однажды ко мне подошла Адель.

— Тебе не кажется, Мартын, что у нас что-то разладилось?

— Как раз об этом хотел спросить тебя.

— Почему меня? Я не имею отношения к установке.

— Зато ты имеешь отношение к Кондрату. Ты его жена. А я слыхал, что мужья делятся с женами своими затруднениями.

— Не верь слухам, Мартын. Вряд ли Кондрат будет делиться со мной больше, чем с тобой. Ты раньше узнаешь обо всем, что его тревожит.

— На правах старого друга, Адочка... Ты не находишь, что вы с Кондратом создали странную семью?

Она ответила резче, чем я мог ожидать:

— Я нахожу, что мы с Кондратом не можем создать никакой семьи. Но это уже наши внутренние затруднения. Речь об установке. Не понимаю, что происходит с выдачей энергии, за месяц никакого прироста. Тебя не беспокоит такое нарушение предварительных расчетов?

— Понял. Беспокоит. Выясню у Кондрата, что кроется за прекращением прироста энергии.

Улучив момент, когда Кондрат в очередной раз принялся разглядывать фарфоровый преобразователь, я прямо спросил: «Что случилось?» В древности существовала секта «созерцателей собственного пупа», не решил ли Кондрат создать новую разновидность такой секты? По-моему, название «Созерцатели шаров» звучит неплохо.

Он засмеялся. Шутка ему понравилась.

— Не созерцаю, а размышляю, Мартын.

— Догадываюсь, что не просто любуешься. О чем же размышляешь?

— О том, что преобразователь у нас великоват. И о том, что твой генератор тоже громоздок.

— Мы выбрали габариты под заданную мощность. Остановились бы на другой мощности, были бы другие габариты.

— Ты полагаешь, что установку можно уменьшить в десяток раз?

— Хоть в сотни раз, а не в десяток! Когда-нибудь сконструируем и переносную ротоновую машину. На дальних планетах наши энергетические механизмы будут даже удобнее современных ядерных энергогенераторов. Так тебя волнует использование нашего изобретения?

— И это, Мартын. И многое другое.

— Поделись с друзьями раздумьями.

— Поделюсь, и очень скоро. Но не торопи меня.

Вот такой был разговор. Я информировал о нем Адель и, естественно, лишь увеличил ее тревогу. И был еще один результат. Кондрат не захотел создавать секту «созерцателей шара». Он больше не предавался лицезрению установки. Теперь он часами просиживал в кабинете — и не на диване, а за столом. Перед ним лежал рабочий журнал, он перелистывал его, вчитывался в старые записи, делал новые — работал, а не размышлял! Размышление тоже работа, я не опорочиваю умение мыслить. Но Кондрат, размышляя, обычно откидывался назад, глаза становились рассеянными. Уже много дней он не принимал такой позы. Уже много дней мы видели его только склоненным над столом, глаза глядели зорко и пристально — никакой задумчивости, никакой рассеянности...

Мы не сомневались, что он готовит важное сообщение. И вот однажды Кондрат пригласил нас в свой кабинет и объявил:

— В наши расчеты вкралась трагическая ошибка. Созданная нами установка не может работать.

16

Отлично помню тот день во всех подробностях. Была середина ноября, по графику Управления Земной Оси, долго не позволявшему расстаться с теплой осенью, в Столице в этот день задали сумрачную погоду. И природа, словно вдруг вспомнив о своем естестве, обрушилась ярым листобоем и холодным дождем. Ветер свивал мокрые листья в смерчи, заваливал ими дороги и плечи, дождь тут же смывал их. Я люблю такую погоду и не торопился. Меня обогнал Эдуард, хотел увлечь с собой, я не пошел с ним. А затем показалась Адель. Она бежала, чуть не падала, я подхватил ее под руку.

— Спасибо, Мартын, — сказала она. — Не терплю дождя. И ветер такой, что хотела вызвать авиетку.

— Ветер хороший, — сказал я. — На таком ветру в авиетке можно схватить морскую болезнь. Ты правильно сделала, что пошла пешком.

В вестибюле нас ожидал Кондрат. Думаю, эту ночь он провел в лаборатории, а не дома. Он помог жене раздеться, и мы направились в его кабинет. Кондрат уселся за стол, на диван опустились Адель и Эдуард, я примостился на стуле, сбоку от стола. И я хорошо помню, как вдруг вспыхнул Эдуард, когда Кондрат объявил об ошибке, и как страшно побледнела Адель. Не думаю, что на моем лице было меньше растерянности и волнения, очень уж неожиданным оказалось сообщение. Кондрат выглядел безысходно подавленным. Но нам в тот миг было не до его ощущения, вполне хватало собственных.

— Неправда! — гневно воскликнула Адель, она первая справилась с растерянностью. — Я десятки раз перепроверяла, ошибки быть не может!

— Ты сказала, что установка не может работать, обрел голос Эдуард. Но она же выдает энергию. Это же факт.

Я молчал. Услышанное не укладывалось в голове. Кондрат улыбался (столько стыда было в его жалкой улыбке). Я отвернулся. К Кондрату сердитому и раздраженному я как-то привык, но такого — униженного, готового снести оскорбления — видеть было невыносимо.

Он ответил Адели тихим голосом:

— Нет, в твоих вычислениях ошибок не было. Я тоже много раз проверял... Хорошая математика, все следствия из посылок. Но посылки неправильные, это моя ошибка. Ты поверила мне, я сам себе верил...

— Но установка работает, — настаивал Эдуард. — Ты же этого не можешь отрицать! Установка прекрасно работает!

Теперь Кондрат отвечал Эдуарду:

— Работает, но выдает только ту энергию, которую вводят извне в ротоновый генератор. И при этом теряет часть ее на собственные нужды. Вот максимум ее возможностей — выдавать лишь то, что получает. Она работает вхолостую.

Эдуард повернулся ко мне.

— Почему ты молчишь, Мартын? Скажи Кондрату, что он путает. Скажи, что он напрасно нас пугает.

Я взвешивал каждое слово:

— Возможно, Кондрат что-то путает. Но в одном он прав: до сих пор наша установка возвращала лишь ту энергию, какую получала. Такую эффективность мы планировали как первый этап. Второй — выдача на сторону большей энергии, чем используется нами со стороны. Для этого мы и создали лабораторию — вычерпывать энергию из вакуума, а не возвращать на энергостанции то, что получаем от них.

Эдуард чуть не кричал:

— Так приступайте, черт возьми, ко второму этапу! Вычерпывайте энергию из вакуума, а не из земных электростанций. Мне, что ли, делать за вас? Не такое было у нас разделение функций.

Снова заговорила Адель:

— Кондрат, твое сообщение чудовищно. Признайся, что зачем-то надумал нас напугать.

Кондрат покачал головой.

— Не пугаю. Сам ужаснулся, когда понял, что случилось. Я неправильно определил константу Тэта. И ты в своих вычислениях повторяла мою ошибку.

— Ошибку? Сколько раз мы обсуждали эту константу! И в лаборатории, и дома. Ты и не намекал, что подозреваешь ошибку.

— Я только недавно о ней узнал. И не решался сказать, хотел перепроверить себя. Теперь говорю — сразу всем.

— Теперь говоришь... И сразу всем? Хорошо, пусть так. Какова же ошибка? На одну десятую величины? На четверть? Вдвое?

— На два порядка, Адель. Я ошибся ровно в сто раз. Тэта в сто раз меньше, чем ты положила в основу своих вычислений.

Теперь и я не удержался от негодующего восклицания. То, что Кондрат объявил, было невозможно. В такую ошибку было немыслимо поверить. Тэта, основная константа в наших расчетах, определяла скорость рождения ядерного микропространства при бомбардировке атомных ядер ротонами. Именно константу Тэта мы внесли как совершенно новое в первоначальные космологические расчеты профессора Клода-Евгения Прохазки. Именно константа Тэта сделала осуществимым переход в микромир от гигантских космологических катастроф, от Большого Взрыва, совершившегося двадцать миллиардов лет назад, от рождения нашей Вселенной и от последующего ее разлета в непрерывно нарастающем пространстве. Установлением одного Того факта, что константа Тэта реально существует, Кондрат мог обессмертить свое имя в науке. А он еще определил ее величину, и она оказалась такой, что открывалась возможность получать энергию на Земле сперва в лабораториях, потом на заводах, от процессов, какие раньше относили к космологическим, а не технологическим. Все мы, не один я, верили, что недалеко время, когда эту величину, математический значок Тэта, будут именовать «константой Сабурова», что мы первые в мире использовали ее для производственных операций. И вот сам творец «константы Сабурова», сам Кондрат Сабуров с сокрушением признается, что все было фикцией: нет реальности в открытой им удивительной константе, отныне она лишь математический, малозначащий символ. Это было чудовищно, этого нельзя было допустить!

И я сказал:

— Кондрат! Ты ошибся не прежде, ты ошибаешься сейчас. Адель права ты путаешь. Нужны доказательства, без них твоих объяснений не принимаю.

— Тогда смотри. — Он протянул мне рабочий журнал.

Он хорошо подготовился к трудному объяснению, это было ясно. Журнал открывался на нужных страницах. Я сразу и навсегда запомнил их двенадцать листочков, номера 123—134. И они показывали, как мучительно сам Кондрат искал объяснения, почему установка не может увеличить выдачу энергии. Он зафиксировал в журнале — цифрами, а не словами — и свои недоумения, и свои тревоги, и свое отчаяние. Он искал сперва неполадки в монтаже и не нашел их. Он подверг анализу — не говоря об этом мне — ливень ротонов из моего генератора и не обнаружил несоответствия. Только тогда, уже охваченный тягостным предчувствием, он обратился к предпосылке всех наших экспериментов — к константе Тэта. Двенадцать роковых страниц зафиксировали его придирчивый допрос самого себя, его яростный спор со своим собственным детищем. Были прямые методы проверки проклятой константы, были и косвенные, по значениям других величин, — Кондрат использовал все. И все они свидетельствовали: мы легкомысленно начали свои исследования, фундамент их недостаточно обоснован. Константа Тэта, одна из главных мировых констант, была в сто раз меньше, чем мы приняли. Из множества известных нам тогда чисел и величин мы невольно выбирали те, что ближе соответствовали замыслу. Мы были некритичны к собственной теории. И конечно, больше всех виноват был в этом Кондрат — он честно признавался в своей вине.

Я молча положил журнал на стол. Его надо было швырнуть, он обжигал пальцы. Но я положил его осторожно, как будто опасался, что при резком движении из него посыплются проклятые цифры, истошно вопя о напрасно потраченном труде нескольких лет.

Адель и Эдуард с надеждой смотрели на меня. Я покачал головой.

— Друзья мои, Кондрат прав. Наша установка неэффективна. Константа Тэта иная, чем мы предполагали. Можете сами проверить.

Я показал на журнал. Ни Адель, ни Эдуард не взяли его. Эдуард опустил голову и растерянно глядел в пол. Адель была великолепным вычислителем, формулы говорили ей больше слов, но она не захотела проверять цифры, занесенные в журнал. Выражение моего лица сказало ей все. И в этот момент мне показалось, что я впервые вижу ее. Еще никогда Адель не была так невероятно красива, как сейчас. Я был когда-то влюблен в нее, мне все нравилось в ней, хотя она была тогда лишь хорошенькой, а не прекрасной. Поняв, что она не для меня, я перестал вглядываться в нее и пропустил время, когда она превратилась в красавицу. И теперь, напряженно ожидая, как она поведет себя, что скажет Кондрату, что скажет мне и Эдуарду, я вдруг с удивлением подумал, что нужно было произойти несчастью в наших исследованиях, чтобы до меня дошла перемена. Я сказал, что она была «невероятно красива». Какие никчемные слова, не выражающие истины! Она была зловеще красива, когда в отчаянии глядела на меня, уверовав наконец, что нашу совместную многолетнюю работу зачеркивает одна-единственная ошибка.

Мы молчали. Кондрат не вынес молчания:

— Надо решить, что делать.

Он обратился ко мне первому, и я ответил первый:

— Будем продолжать работу. Докажем, что невозможно создать новые источники энергии путем манипуляций с микропространством. Всемирной славы не приобретем, но докторские степени заслужим.

— Ты, Адель? — обратился Кондрат к жене, — Что ты скажешь?

— Что я скажу? — Она подошла к окну. Снаружи метались деревья и бил по стенам дождь. Адель посмотрела в окно и обернулась к нам. Она тяжело дышала, Я бы многое сказала тебе не только как твой сотрудник, но и как твоя жена. Но при посторонних стесняюсь.

Кондрату надо было как-то успокоить Адель. Он и не подумал это сделать.

— Как муж с женой поговорим дома. Сейчас я спрашиваю тебя как сотрудника лаборатории.

Она зло усмехнулась. Не хотел бы, чтобы когда-нибудь против меня обращали такую беспощадную усмешку.

— Видишь ли, мне трудно отделить функции жены от функций сотрудника. Это, наверно, недостаток всех женщин, не только мой. Поэтому отвечу на твой вопрос: я ухожу. Сейчас же ухожу, ни одной минуты не задержусь.

— Ты уходишь домой, Адель?

— Не домой, а из дому! Тебе понятно?

— Мне понятно, — сказал он глухо.

Теперь я думаю, что в тот день Кондрат уже ожидал разрыва с ней. Но все же он очень побледнел, верней, посерел, темная кожа лица никогда не становилась у него бледной. Он обернулся к Эдуарду:

— А ты, Эдуард? Ты что-то не торопишься высказывать свое мнение.

— За Эдуарда отвечу я, — властно сказала Адель. — Эдуард уходит со мной.

— С тобой? — переспросил Кондрат. — Разреши узнать, в каком качестве ты уводишь с собой Эдуарда?

— В качестве моего нового мужа, вот в каком. — Она стремительно подошла к Эдуарду. — Эдик, я правильно тебя понимаю, ты хочешь быть со мной?

Эдуард потерялся — затряслись руки, задрожал голос. Он еле пробормотал:

— Адочка, ты же знаешь... Я же всегда...

— Очень хорошо. Вставай, мы уходим.

Она взяла его под руку, пошла к выходу. Эдуард пребывал в таком ошеломлении, что ничего не сказал нам с Кондратом на прощание. В дверях Адель обернулась и горько проговорила:

— Радости здесь не было никогда. Но столько было надежд на радость!

Они ушли. Эдуард так и не повернул головы в нашу сторону. Мы с Кондратом молчали. И опять он первый не вынес молчания:

— Вот так и развалилась наша лаборатория, Мартын.

— Еще не развалилась, — откликнулся я. — Просто поставим себе иные задачи. И будем так же честны с результатами экспериментов.

Он с печалью возразил:

— Но открытия, которого мы так желали...

— Друг мой Кондрат! Настоящий ученый исследует проблему, не зная, что в итоге получится — великое открытие или добавка новых фактов к тысячам уже известных. Только научные карьеристы и научные халтурщики ставят своей целью непременно совершить открытие, а не просто изучить проблему. Разве мы с тобой карьеристы или халтурщики?

Он странно посмотрел и сказал:

— Мне думалось, что, узнав о провале, ты покинешь меня, как Адель и Эдуард.

— Давай уточним понятие «провал». Отрицательный результат — тоже важный научный факт. Будем и дальше обогащать пауку важными фактами. И не рвать на себе волосы.

— Я рад, что ты остаешься, — сказал он без энтузиазма.

Мне тогда показалось, что Кондрат отнюдь не огорчился бы, если бы и я оставил его.

Сейчас понимаю, что то ощущение было пророческим. И многое сложилось бы по-иному, уйди я вслед за Аделью и Эдуардом.

17

Адель и Эдуард улетели из Столицы. Он продолжал свои речи и доклады о Гарпии, она сопровождала его в поездках. У меня не было сомнений, что долго такое содружество не продолжится. У Кондрата Адель еще могла бы согласиться на вторую роль, он все же интеллектуально превосходил ее, и она это понимала. Но с Эдуардом они были ровня, а это означало, что вторые роли будет играть он. Вскоре они вернулись в Столицу. Она — профессором в университет, он — сотрудником в Академию наук. Она заняла место, которое хотела, он взял любое, лишь бы быть при ней. Все совершилось, как и должно было совершиться.

А у нас с Кондратом шло странно. Меня, наверно, меньше всех огорчила неудача на установке. Я не лгал, убеждая Кондрата, что и отрицательный результат тоже важен. Мне думалось, что я утешаю его своими рассуждениями, но он почему-то раздражался, а не успокаивался. Помню один разговор в его кабинете.

— Посмотри на этих двух людей. — Я показал на Жолио и Ферми, — Гении, правда? А почему? В чем их гениальность?

— Мартын, это же просто! Продемонстрировали высочайшую силу мысли, глубокое экспериментаторское искусство. И в результате совершили научный подвиг: открыли ядерную энергию, сделали возможным ее использование.

— А можешь ли утверждать, что, не будь Жолио и Ферми, человечество не узнало бы о ядерной энергии?

— Ты задаешь наивные вопросы, Мартын. Кроме них двоих, еще два десятка отличных ученых вплотную приблизились к такому же открытию. Но Жолио и Ферми опередили их, всего на несколько дней, но опередили.

— Вот-вот! Открытие могли совершить не только они, но и другие имелось что открывать. Ибо константы ядра урана были объективно такие, что стало возможно огромное выделение энергии при распаде этого ядра. А явись константы иными, вырывайся при распаде не несколько нейтронов, зажигающих цепную реакцию, а скажем, один нейтрон на два распада, и не было бы никаких цепных реакций с баснословным выделением энергии. И не было бы никакого ядерного оружия и никаких ядерных электростанций, никаких атомных реакторов для мирных целей. И ни эти два физика, ни два десятка других, проводивших одновременно с ними те же исследования, не совершили бы своих открытий, и никто не вешал бы их портреты на стены, никто не говорил бы об их гениальности. Чуть-чуть сложись по-иному некоторые физические константы, и всю историю человечества пришлось бы писать по-иному, не только биографии двух знаменитых физиков.

— К чему ты все это?

— К тому, что и Жолио, и Ферми остались бы такими же умными и талантливыми, будь константы распада ядра иными, но только никто не узнал бы тогда, какие они умные и талантливые. Да, нам не повезло с константой Тэта, но разве мы от этого стали иными? Менее талантливыми? Глупей или злей? Кондрат, какими мы были, такими и остались. Давай утешаться этим.

Он взволновался. Его что-то сильно расстраивало.

— Утешайся, если тебе этого достаточно. А у меня временами желание послать наши исследования к черту. Взорвать твой ротоновый генератор, размонтировать мою энергетическую установку...

— Почему такая дискриминация моих работ? Мой генератор взорвать, твою установку только размонтировать. Несправедливо.

Шутка до него не дошла. Меньше, чем когда-либо прежде, он способен был воспринимать иронию. Особенно, если иронизировали над ним.

Ротоновый генератор работал, как хорошие часы, у меня появилось свободное время. Я предложил Кондрату помочь в обслуживании его установки, он не захотел.

— Ум хорошо, а два лучше, слыхал? — сказал я.

— Не хочу отягчать тебя своими затруднениями.

— Один можешь и не увидеть, где увидят двое.

Он пронзительно глянул на меня.

— Установка моя. И только моя. Делай свое дело, я буду делать свое. Удачи разделю с тобой и обоих ушедших позову к успеху. А неудача пусть будет только моей.

Я не сумел скрыть негодования.

— Трудно работать, Кондрат, когда видят в друзьях лишь любителей быстрого успеха.

Он закричал:

— Трудно со мной? Тогда уходи, я не держу! Адель ушла, я ее не остановил. А она мне все-таки...

— Жена, а не просто сотрудник, как некий Мартын Колесниченко, холодно закончил я, — Я подумаю надо твоим ценным предложением.

И я впервые стал прикидывать: а и вправду, не уйти ли мне? Все, что мог, я уже сделал. Мой ротоновый генератор останется Кондрату памятью о том, что нет причин жаловаться на мое нерадение.

Вероятно, эти мысли и неусмиряемая обида и стали причиной окончательного разрыва.

Кондрат задумал какие-то новые опыты. Он влезал на установку, прилаживал к фарфоровому шару ящички и сосудики. Он не говорил, зачем это делает, я не спрашивал. Однажды я молча шел мимо установки, и сверху на меня свалился металлический цилиндрик. Я успел схватить его. Кондрат закричал с установки:

— Не смей трогать его, он тебя не касается!

— Именно касается, — огрызнулся я. — Если удар именовать простым касанием. А теперь погляжу, что содержится в этом подарке с высоты.

Кондрат проворно сбежал вниз.

— Запрещаю открывать цилиндр. Немедленно отдай!

Ему следовало все же говорить спокойней.

— «Не смей», «запрещаю», «отдай»... Какие военные команды! Ты в меня швырнул чем-то тяжелым, теперь моя передача. Хватай!

Я кинул ему цилиндрик, как кидают мяч. Кондрат отшатнулся, и цилиндрик угодил в щеку. Кондрат был чужд всем видам спорта и не понял, что я хотел превратить исполнение его приказа в подобие игры. Он решил, что я отвечаю ударом, и немедленно вздыбился. Он наступал на меня и орал. Он потерял контроль над своими словами. То, что он выкрикивал, было непереносимо слушать. Я впал в ярость и пригрозил:

— Перестань! Плохо будет!

— Не перестану! Все узнаешь, что думаю о тебе! — вопил он побелевшими губами.

И я ударил его. Полновесная пощечина отбросила Кондрата к стене. И сейчас же он кинулся на меня. Драчуном он не был, ни физической силой, ни сноровкой не брал. Но нападение было так неожиданно и так неистово, что минуту-две Кондрат имел преимущество. Он схватил меня за шиворот, поддал коленом, потащил к выходу — хотел вытолкнуть наружу. Только у двери я справился с растерянностью. На этот раз он на ногах не устоял. Несколько секунд он лежал на полу, потом стал медленно подниматься. По лицу его текли слезы, он что-то бормотал. Я не стал вслушиваться. Я ненавидел его. И он понимал, что я его ненавижу.

— Я раздельно сказал, стараясь восстановить в себе спокойствие:

— Поговорили. Небольшая научная дискуссия. Успешно разрешена трудная познавательная проблема. Гносеологическая — так, кажется, называются такие проблемы.

— Мартын, Мартын! — простонал он. — Что же мы сделали?

— Расходимся, вот что сделали. Ты заставил уйти Адель и Эдуарда, а теперь и меня принудил. Ноги моей больше здесь не будет!

И я рванул на себя входную дверь. Надо было зайти в свой кабинет, что-то прибрать, что-то забрать. Не умом, мстительным чувством я понимал, что, уходя вот так — все бросив, от всего в лаборатории отрекаясь, — я наношу Кондрату пощечину, обиднее первой. И в ту минуту мне было единственным утешением, что не просто ухожу, а больно оскорбляю Кондрата своим уходом...

Я снял датчики мыслеграфа и швырнул их на стол. Третий день записи воспоминаний был тяжелее первых двух. Не знаю, как другие люди, а мне временами больнее заново переживать давно пережитое. Ибо там, в прошлом, нет завершенности, нет знания, что произойдет впоследствии, спустя годы, завтра, через минуту, будущее темно. А сейчас, перед столом, с датчиками мыслеграфа за ушами, я видел прошлое в его абсолютной законченности — оно стало, и оно было, и его уже не переменить. И меня охватила боль оттого, что в прошлом ничего не переменить, а так надо бы! Да знай я то, что знаю сегодня, разве я так вел бы себя в прошлом?

— Ладно, успокойся, — сказал я себе вслух. — Завтра продолжим. Завтра будет легче. Воспоминания закончены, основа для анализа трагедии выстроена. Завтра приступлю к исследованию документов. Они прольют последний свет на причины гибели Кондрата.

18

И новый день я начал с того, что вытащил из ящика стола папку, принесенную Карлом-Фридрихом Сомовым. «Надо бы предварительно просмотреть вчерашнюю запись», — подумал я, но не стал этого делать — все, записанное вчера, восстановилось в памяти ярко. Датчики мыслеграфа я все же прикрепил к ушам, сегодня они будут записывать не картины прошлого, а мысли, вызываемые чтением документов и описанием событий.

Итак, я ушел от Кондрата, организовал собственную лабораторию — иная тематика, ничего похожего на то, чем занимался у Кондрата. Адель и Эдуард явились в мою новую лабораторию. Был нерадостный разговор, оба сетовали, что мечтания об успехе завершились скверным финалом. А Кондрат продолжал работать один. Что он делал? Что он мог делать, кроме продолжения неудавшихся исследований? Конечно, пытался найти способ как-то улучшить использование и той константы Тэта, какой она раскрылась в реальности, а не в мечтах, не в рискованных теоретических построениях.

— Значит, на очереди константа Тэта, определяющая рождение микропространства в атомном ядре, — сформулировал я для себя задачу. — Не знаю, как с созданием микропространства, а провал нашего исследования определила именно она. Посмотрим еще раз, как это произошло.

В первые мгновения я не поверил своим глазам. Страниц 123—134 в журнале не было. Торопливо перелистал его — может, выпали из общей сшивки и их засунули между другими листами? Нет. Просмотрел все бумаги, лежавшие в пачке: протоколы следственной комиссии по взрыву, дневники Кондрата, какие-то записи, не оснащенные цифрами, — не то, решительно не то! Я снова раскрыл журнал. Между страницами 122 и 135 была пустота. Страницы 123—134 кто-то вырезал — узенькие полоски бумаги, оставшиеся от них, свидетельствовали, что здесь аккуратно действовал острый нож. Спокойно и расчетливо изъяты те самые страницы, которые нам показывал Кондрат, которые я в его присутствии проверял, те единственные страницы, на которых были запечатлены все проверки главной константы, страницы, доказывающие ошибочность теории Кондрата и вычислений Адели, приписывающих этой константе нереальное высокое значение...

Кто мог вырезать важнейшие страницы? Кому это было нужно?

Только два человека держали в руках рабочий журнал Кондрата после моего ухода из лаборатории. Он сам и Сомов, изымавший все лабораторные бумаги после взрыва. Кондрат отпадает, Кондрату не было нужды уничтожать вои записи — что написано, то написано, таково его всегдашнее отношение к рабочим журналам. Значит, заместитель директора института? Он, только он один! Этот человек сразу невзлюбил нашу лабораторию, не раз почти открыто показывал свою неприязнь. Он забрал все документы лаборатории, он рылся в них и устранил все, что свидетельствовало о просчетах — ведь они бросали тень на его научную компетенцию!

Я вызвал Сомова.

— Случилось что-то важное? — спросил он.

— Очень важное. Разрешите прийти к вам и доложить.

— Не надо. Я сам приду в лабораторию.

Он явился через несколько минут. Я сидел у Кондрата, а не в своем кабинете. Сомов опустился на диван. Передо мной лежал раскрытый журнал. Сомов усмехнулся: он издали увидел, на каких страницах журнал раскрыт.

— Похоже, вы заметили вырванные страницы и сочли это важным, — начал он первым, — И какое составили мнение по этому поводу, друг Мартын?

— Мнения нет. Пока одно удивление.

— И предположения нет?

— Предположение есть: страницы 123—134 удалены тем, кому они мешали. Или скажем так: кому они не нравились.

— Продолжу вашу мысль, — сказал Сомов, — Страницы мог удалить и тот, кому не нравились ваши исследования и сама ваша бывшая лаборатория. Вам почему-то казалось, что я вас недолюбливаю. И вам явилась идея, что это именно я так нагло похозяйничал в журнале.

Я не решился столь ясно высказывать свои подозрения. Он тихо засмеялся.

— Нет, друг Мартын, вы ошибаетесь, если так думаете. И к лаборатории вашей я хорошо отношусь, хоть и многое в ней меня тревожило. И страниц из журнала не вырывал. Это сделал другой человек.

— Кто же?

— Кондрат Сабуров, кто же еще? И сделал, уверен, потому, что и его стали одолевать те же тревоги, что и меня.

— Может быть, скажете, в чем состоят эти тревоги?

— Не скажу. Вы должны до всего дойти сами.

— Но вы видели раньше меня эти вырванные страницы. Почему не обратили на них заранее мое внимание?

— По этой же причине. Вы не нуждаетесь в подсказках.

— Но в пояснениях нуждаюсь, — сказал я сухо. — Неясностей хватает не только в лаборатории, но и вокруг нее. Вы могли бы хоть отчасти высветить темные места.

— Мог бы, но не хочу. Частичное высветление однобоко — может увести от истины. Если я выскажу вам свое мнение о том, что совершалось в вашей лаборатории, я невольно воздействую на вас. А я несравненно меньше вас разбираюсь и в научной специфике лаборатории, и в знании работников. Поэтому вам, а не другому, тем более не мне, доверили окончательное расследование. Но если вы сами придете к тем же выводам, что я, то для меня они станут истиной. И это будет важным не только для нас с вами — для всей нашей науки.

Сомов встал. Я не стал его задерживать. Он вдруг показал рукой на портреты Жолио и Ферми.

— Одну подсказку все же разрешу себе. Подброшу вам хорошую кость, погрызите ее. Зачем Сабуров повесил портреты этих двух физиков? Если я не ошибаюсь, ответ прояснит многие загадки.

Я долго не мог прийти в себя после ухода Сомова. Единственно точная формула моего состояния — ошеломление и растерянность. Из всех гипотез о происшествии с журналом, которые я мог выстроить, Сомов предложил мне самую невероятную. Истина была не там, где я пытался ее найти. Я шел по неверной дороге, по самой удобной, по гладкому полотну, а надо было сворачивать на неприметную тропку, протискиваться между валунами, преодолевать завалы: истина не светила впереди прожектором, а тускло мерцала в глухой чаще!

— Выходит, страницы из журнала вырвал сам Кондрат, — сказал я себе вслух, — Невероятно, но правда, так утверждает Сомов. Но почему Кондрату понадобилось расправляться со своим журналом?

Ответ был однозначен: его не устраивали эти страницы. Они стали вредны, чем-то опасны. Кондрата порой охватывало раздражение, налетали приступы ярости, причиной этого всегда были люди — и раздражение и неистовство обрушивались на возражавших и несогласных. К науке его душевные бури отношения не имели, на науке он не вымещал своих настроений. Двенадцать же вырванных страниц были как раз наукой — результаты расчетов и проверок, итоги размышлений и экспериментов. Почему он ополчился на них? Аккуратные полоски разрезов свидетельствуют, что он работал неторопливо, без ярости, без злости, без раздражения, совершал запланированную операцию, естественную и необходимую.

Допустим, уничтожение данных было, по сути, научной операцией, иначе не понять поступок Кондрата. Но это значит, что сами данные на вырванных страницах не были наукой. Чем же они были? Новой ошибкой Кондрата? Нет, ошибку Кондрат сохранил бы, познание идет через ошибки, Кондрат ценил обнаруженную ошибку, как веху, указывающую, что в эту сторону дорога закрыта. Он не страшился и не стыдился ошибок, только огорчался, если ошибка была велика. Он вырвал страницы, потому что стыдился их, в них был какой-то укор ему. Они были... обманом, он стыдился, что пошел на обман. А когда мы трое покинули лабораторию, он расправился с письменным свидетельством своего обмана.

«Пока все логично, — мысленно сказал я себе, — только скверно». Что же было предметом обмана? На страницах 123—134 суммировались доказательства, что константа Тэта в сто раз меньше, чем вначале предполагалось. И это было единственно важным на тех страницах. И это единственно важное было обманом. Сознательным обманом, со случайной ошибкой Кондрат так не расправился бы, раскрытие случайной ошибки могло вызвать лишь радость. Но раскрытие обмана порождало стыд, от стыда Кондрат постарался себя избавить.

Теперь следующий шаг: в чем состоит обман? В том, что Кондрат сознательно занизил значение основной константы. В том, что он убедил нас троих в бесперспективности наших работ. Сколько лет жизни, все лучшее в себе Кондрат отдал лаборатории и вдруг стал лгать нам, что лаборатория никуда не годится. Но если его уверения, как и цифры, зафиксированные на пропавших страницах, лживы, значит, неудачи в экспериментах нет? Огромные перспективы новых форм энергии не зачеркнуты, они реальны!

Об этом после. Сейчас непосредственное: зачем Кондрат обманул нас?

И на это ответ однозначен: чтобы удалить из лаборатории нас троих. Конечно, мы могли потребовать новых проверок, новых вычислений, новых экспериментов — и обман обнаружился бы. Кондрат действовал безошибочно. Он знал, что мы ему верим. На него работала чудовищность замысла: главный автор изобретения, не терпевший даже намека на сомнения, с сокрушением признается сам, что допустил непозволительный промах и нас ждет не слава успеха, а позор провала. Как не поверить такому признанию? Правда, задумка сработала не полностью. Адель ушла сразу и без колебаний, увела с собой Эдуарда. Но я остался. Кондрата это не устраивало. Он разыграл скандал, оскорбил меня, заставил уйти. Теперь все в порядке: можно вырвать лживые страницы и продолжать прежние исследования. Ничего не изменилось — провала не будет, ибо провала не может быть.

Итак, Кондрат сознательно удалил нас троих, и один продолжал нашу совместную работу. Чем мы ему мешали? Не только не мешали — помогали, без нас ему было бы значительно трудней. Значит, не хотел, чтобы мы пошли с ним до финала? Не хотел, чтобы мы четверо были равноправными участниками успеха? Задумал забрать себе одному то, что мы создавали вчетвером? Чудовищно, но другого ответа нет!

Волнуясь, я прошелся по комнате. Должен быть другой ответ! Кондрат не мог нас удалить потому, что желал славы только для себя. Признание его собственного значения в науке ему было не так важно, как сама наука. Он не был завистником, нет. Чего-то я не понял. Все верно в моих размышлениях, но последний вывод неверен. Он выгнал меня, но ведь не отменил моего входного шифра, наверно, надеялся, что возвращусь, — это не вяжется с запланированным изгнанием. В какой-то момент я опять свернул с правильной дороги, опять предпочел запутанной, в колдобинах, тропке удобное, накатанное шоссе тривиальных понятий.

Я нажал кнопку дисплея. Надо было зафиксировать программу дальнейших поисков. На экране одна за другой появлялись записи мыслей:

1. Какое значение константы Тэта?

2. Чем занимался в лаборатории Кондрат после ухода нас троих?

3. На что намекал Сомов, связывая портреты двух старых физиков с поведением Кондрата?

4. Гибель Кондрата — обстоятельства и причины.

Я послал просьбу в библиотеку прислать мне труды Фредерика Жолио и Энрико Ферми. В шкафу хранился первоначальный проект ротоновой лаборатории, мы составляли его вчетвером и вчетвером подписывали. Все физические закономерности взаимодействия ротонов и материальных частиц в атомном ядре разрабатывал сам Кондрат, вся математика принадлежала Адели. Проект был на месте.

Вернувшись к себе и снова подключившись к мыслеграфу, я углубился в наши старые расчеты.

19

Вероятно, проверка шла бы много быстрей, если бы я вызвал Адель, — и сама она вычислитель иного класса, чем я, и все основные вычисления проделала, и перепроверяла себя неоднократно. Но что-то останавливало меня. Кондрат удалил ее и Эдуарда из лаборатории, он вычеркнул из памяти компьютера их входной шифр. Я помнил, с какой поспешностью и без колебаний он поставил возвращению жены и друга непреодолимый барьер. Теперь это стало барьером и для меня: я не имел права просить помощи Адели, не уяснив, почему она удалена. Правда, и меня Кондрат изгнал. Но была важная разница: Кондрат кричал чуть не с рыданием вдогонку, что навсегда закроет мне вход в лабораторию, но входа не закрыл. Мой шифр оставался в действии — может быть, Кондрат ожидал, что я одумаюсь и прощу безобразную сцену. С Аделью и Эдуардом было по-иному, он чувствовал облегчение, когда они ушли, даже намека на раскаяние я в нем не заметил.

Запретив себе звать Адель, я погрузился в расчеты, какие она могла сделать куда лучше меня. Я повторил ее прежнее вычисления, искал математический просчет, прикрытым внешней аккуратностью. Я делал ту же работу, что и она, но делал независимо, даже отказался от параллельной сверки результатов. Тетрадь с расчетами Адели лежала на столе, я запретил себе раскрывать ее, пока все не закончу. И вычислял я иначе, чем Адель. Профессиональные вычислители имеют свои приемы, они что-то упрощают, через какие-то ступеньки перепрыгивают. Мастерство Адели слагалось из множества отступлений от школьных правил, одно из таких отступлений и могло породить неприметную ошибку, ставшую в конечном итоге роковой. Так я думал, возобновляя давно проделанную работу, и, в отличие от Адели, не позволял себе ни малейшего нарушения норм.

Когда я сравнивал, что получилось у меня, с тем, что было у Адели, меня охватило новое чувство к ней. Я всегда уважал ее дарование вычислителя, ее профессиональное мастерство. Теперь уважение превратилось в восхищение. Я был растроган, так все оказалось изящно и безошибочно в каждой странице формул и цифр. Конечно, уважение и восхищение — чувства деловые, они сопровождают профессиональную оценку профессионального умения, а растроганность из иной области — это чувство не корректное. Но я ничего не мог поделать. Когда-то я был влюблен в Адель, но никогда по достоинству не принимал ее как ученого, так мне увиделось ныне.

— Ошибка не связана с работой Адели, — сказал я для записи мыслеграфа. — Кондрат правильно говорил, что Адель ни в чем не погрешила. Теперь — константа Тэта. В ней корень зла. Восстановить утраченные страницы 123—134 и проанализировать их содержание.

Утраченные страницы возобновились в моей памяти так ясно, словно лежали на столе и я рассматривал их, а не вспоминал. Я мысленно перелистывал их, всматривался в формулы и цифры. Мыслеграф закреплял на пленке все, что восстанавливала мысль. Отныне, вызывая на экран изображение, я смогу уже не тратить на каждую страницу мыслительных усилий. Меня снова и снова охватывало ощущение, с каким я тогда, под сумрачным взглядом Кондрата, под полными отчаяния и надежды взглядами Адели и Эдуарда, старался вдуматься в эти страницы. Они были убийственно неопровержимы: константа Тэта, определяющая микророждение пространства при облучении ядра ротонами, эта открытая Кондратом новая мировая константа ровно на два порядка, ровно в сто раз меньше, чем мы рассчитывали. Возобновившиеся в моей памяти страницы обладали какой-то магической силой, они заставляли верить в себя.

Но сейчас, в отличие от того дня, когда я впервые вглядывался в эти страницы, я заранее знал, что в них таится путаница, не исключен и обман. И твердил себе: только обман, только стыд, что понадобилось нас обмануть, мог заставить Кондрата вырвать эти страницы из журнала. Я ставил перед собой вопросы и отвечал на них, я спорил сам с собой.

«Не могло ли произойти так, что Кондрат сам обманулся, а потом сам же обнаружил свою ошибку и в ярости уничтожил следы самообмана?»

«Нет, не могло, Кондрат бросился бы к нам, увидев самообман, он снова призвал бы нас троих в лабораторию, он ликовал бы, что путь к успеху по-прежнему реален. Вот так бы он поступил. Этого не было-вспомни!»

«Но все данные так дьявольски доказательны. Вот я снова вглядываюсь в уже не существующие страницы...»

«Их несуществование и доказывает их недоказательность. И еще одно: не подозрительно ли само по себе абсолютное правдоподобие данных? Хоть бы щелочка для сомнения! Хоть бы признак неточности! Нет, все рассчитано оглушить неожиданным набором доказательств, но не дать по-настоящему разобраться. Если бы Адель с Эдуардом остались, если бы тебе не пришлось уйти, такая проверка неизбежно бы совершилась и обман или самообман столь же неизбежно раскрылся бы».

— Значит, так, — вслух приказал я себе. — Ты с напряжением вспоминал утраченные страницы журнала. Теперь забудь их, они не должны возобновляться в твоем мозгу. И проделай такую же работу, как с вычислениями Адели. Восстановив все, что Кондрат вносил на изъятые страницы. Сам определи истинное значение Тэта по его экспериментам. Так ты записал в первом пункте своей новой программы поисков. Выполняй!

Была ночь. Отключив мыслеграф, я пошел домой.

20

Не помню, какой был день расследования — пятый или шестой. И какая была в тот день погода, тоже не помню, хотя мне всегда было небезразлично, что там, за окном: дождь или солнце, ветер или тишина, тепло или холод. Внешний мир отстранился от меня, я допрашивал показания приборов, программы компьютеров, энергетические выдачи установки, перелистывал ленты самописцев, вдумывался в команды исполнительных механизмов...

И когда и этот труд был завершен, я некоторое время молча смотрел на результат. Ошибки в первоначальном определении Тэта не существовало. Все прямые, все косвенные данные экспериментов подтверждали константу, положенную в расчет установки. Кондрат переместил несколько цифр в записи — совсем незаметное изменение, маленькая подтасовка, а в отдаленном итоге она и дала уменьшение в сто раз. Все было заранее продумано. Кондрат не сомневался, что в спешке и в волнении я и не подумаю обратиться к лентам самописцев, не буду сравнивать кривые на диаграммах с цифрами в журналах. Какими же белыми нитками сшита черная сеть обмана! Немного бы тщания, и все хитросплетения выводов рухнули бы, как подрубленное дерево. Нет, Кондрат действовал безошибочно. Чтобы раскрыть обман, надо было заранее знать, что обманывают, подвергнуть проверке не выводы из цифр, а сами цифры, усомниться в главном: точно ли записаны эксперименты? Тогда я и помыслить не мог об обмане, на этом и был построен обман. И если бы Кондрат не вырвал страницы с фальсифицированными данными, я бы и сейчас верил им, я бы и сейчас с горечью признавался: да, никогда человечество не получит новые источники энергии. Вот они вспыхивают на экране, восстановленные в памяти страницы, — как они неопровержимо доказательны!

Я откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Я чувствовал себя опустошенным, но не испытывал ни возмущения, ни негодования. Получилось то, что я предугадывал. С того момента, когда я увидел вырванные страницы и узнал, что вырвал их Кондрат, я уже подозревал истину. На душе было горько, а не злобно.

Внезапно прозвучал вызов. На экране появилась Адель.

— Ты в лаборатории, Мартын? — Она неприязненно всматривалась в меня. — Что ты там делаешь?

— Многое, Адель. Всего сразу не расскажешь.

— Расскажи главное.

— При встрече — пожалуйста. Не люблю экранных бесед.

— Тогда пошли разрешение на вход для меня и Эдуарда. Через десять минут мы придем в лабораторию.

Они пришли через десять минут. В Адели идеально совмещались женственная внешность с неженской точностью. Она вошла первой, за ней плелся Эдуард. Я встал им навстречу, протянул руку. Она сухо коснулась моих пальцев, он так долго жал их, словно что-то хотел перелить из моей руки в свою. Потом он плюхнулся на диван, а она встала у окна на любимое место — дневной свет, сегодня довольно тусклый, красочно, как и раньше на этом месте, высвечивал половину лица и фигуры, вторая половина была затенена, так ей почему-то нравилось.

Эдуард выглядел каким-то разваренным, и я посочувствовал:

— Как будто только что слез с горы. Ты, случаем, не с Эвереста или Килиманджаро?

Он проворчал:

— От Боячека. В Гималаях чувствую себя гораздо легче, чем в кабинете нашего дорогого президента. Старика сдвинуть с позиций трудней, чем переместить Эверест из Азии в Африку.

— А пробовал передвинуть Эверест?

— Говорю тебе, я пробовал передвинуть Боячека. Это хуже...

Адель прервала наш разговор:

— Мартын, ты, кажется, осваиваешь место начальника Лаборатории ротоновой энергии? Каковы же успехи? Чему ты ухмыляешься?

Она явилась чего-то властно добиваться. Я видел ее насквозь.

— Дорогая Адель, сними фильтры с глаз, они показывают неверную картину.

— Разве ты не за столом Кондрата? И разве тебя не осеняют лики великих святых науки? — Она показала на портреты Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. — И вид — самый начальственный.

— Руководящий, — важно добавил Эдуард. — Между прочим, Мартын, я всегда был уверен, что ты создан для руководства. У тебя, знаешь, такие директивные...

— Глаза, — подсказал я.

— Нет, не глаза. Впрочем, глаза тоже. Я имел в виду жесты, слова. В общем, поступки. Мы с Аделью так поняли твой приход в лабораторию, что теперь будешь возглавлять ее ты. Допустишь и нас? Или подтвердишь изгнание?

— Вы хотите вернуться в лабораторию?

— Да, — ответила Адель. — Несчастные изгнанники — роль не для нас. Ты ведь вернулся.

Пока она говорила, я торопливо обдумывал, как держаться. Их приход был неожиданным, неожиданным было и желание вернуться в лабораторию. И я не знал, что сказать о своем появлении в ней. Где мера той откровенности, какую могу разрешить себе? Я осторожно начал:

— В общем, конечно, Кондрат нас прогнал. Но Кондрата нет. И лаборатории нет. Куда вы собираетесь возвратиться?

— Туда, куда воротился ты, — ответила Адель. — Ты в лаборатории, ты сидишь за столом ее бывшего руководителя. Значит, лаборатория есть.

— Я сижу в лаборатории, но, повторяю, лаборатории нет.

— Тогда зачем ты появился здесь?

На это я мог ответить открыто:

— Ларр и Сомов предложили мне расследовать обстоятельства катастрофы — вот почему я за этим столом. С возобновлением экспериментов это не связано.

— Ларра и Сомова не устраивает заключение комиссии, расследовавшей катастрофу?

— Оно им кажется недостаточным, Адель. Они хотят услышать мнение человека, долго работавшего в лаборатории.

— Логично. Но мы с Эдуардом тоже работали в лаборатории. Почему обратились к одному тебе?

— Об этом надо спрашивать не меня, а их. Я не знаю, почему они выбрали меня, а вас игнорировали.

— Но ты бы мог сказать, что без нас расследование будет неполным, что и наше мнение имеет немаловажное значение. Почему ты этого не сделал, Мартын?

— Конечно, я должен был вспомнить о вас, когда меня вызвали Ларр с Сомовым. Но я не вспомнил. К сожалению, было так.

— Ты понимаешь, что твой ответ несерьезен?

— Другого у меня нет.

Она долго не отрывала от меня гневного взгляда. Эдуард молчал. Он как бы показывал, что и сам разговор, и результаты разговора его занимают мало. Уверен, что в эти минуты он размышлял о чем-то постороннем.

— Хорошо, примем, что серьезного ответа на серьезный вопрос у тебя нет, — снова заговорила Адель. — Ответь тогда на другой вопрос. Ты не посоветовал привлечь нас к расследованию, но разве не мог информировать о нем? Вызвать если не для дружеской, то хотя бы для официальной беседы? Или и на это не можешь ответить?

— На это — могу. Я собирался просить вас к себе, когда для меня картина катастрофы разъяснится.

— А картина, естественно, темна, раз ты нас не вызываешь. И нам пришлось самим напроситься на прием.

Я игнорировал ее иронию и ответил как можно более дружески:

— Ты права, Адель, катастрофа для меня пока темна. Загадка гибели Кондрата остается загадкой.

— Ты уверен, что удастся разъяснить эту загадку?

— Надеюсь на это.

— Хорошо. С Кондратом понятно. Он погиб, причины гибели остаются теми же, какие указаны официально: неосторожное включение линии высокого напряжения на горючие материалы. Так?

— Не просто горючие, а взрывчатые.

— Пусть взрывчатые. Оставим на время трагедию Кондрата. Вернемся к ней, когда ты бросишь на нее свет. Не возражаешь поговорить о другом?

— Как я могу возражать, не зная, о чем это «другое»?

— Не притворяйся. Ты знаешь, о чем я буду спрашивать! Так или не так?

— Так. Знаю. Спрашивай.

Адель все же помедлила. Я внутренне сжался. Она еще не понимала, что я не смогу честно ответить на то, о чем она спросит. На мне железной цепью висел обман Кондрата. Пока я не дознался, почему он обманул нас, я не мог прямо сказать им обоим, что был обман. У Кондрата, несомненно, возникли важные причины для удаления нас из лаборатории, более важные, чем наука, чем наша дружба, чем его чувство к Адели, наконец. И я еще не знал, что честней, что нужней: раскрыть обман или умолчать о нем. Прикрыть один обман другим я не мог. Честно во всем признаться — не смел.

Адель задала вопрос так резко, как если бы наносила удар:

— Мартын, только правду: не было ошибки в экспериментах? Не было того провала, каким ошеломил нас Кондрат?

Я постарался хоть на минуту ускользнуть от прямого ответа.

— Какие у тебя основания спрашивать об этом?

— Ты заменяешь ответ вопросом. Хорошо, я отвечу тебе. И ты, и Кондрат, конечно, понимали, что, уйдя из лаборатории, я снова проверю свои вычисления. В них не было ни малейшей ошибки, я это установила окончательно. Вот мои основания для вопроса.

— И Кондрат говорил, что в твоих вычислениях нет погрешностей. И что просчет в неправильном определении величины Тэта. Эксперименты подтвердили, что надо исходить из нового значения константы.

— Это ты подтвердил, что эксперименты подтвердили? Не забывай, пожалуйста, что ты проверял записи.

— Не забываю.

— Ты тогда объявил нам: эксперименты свидетельствуют, что Тэта в сто раз меньше, чем первоначально принята.

— Все верно. Записи в рабочем журнале показывали, что константа иная, чем мы считали.

— Я снова повторяю вопрос, от ответа на который ты уклонился: не было ли ошибок в самих экспериментах? Правильно ли вписали в журнал данные?

На это я ответить не мог. Я старался не глядеть Адели в лицо.

— Воздержусь от прямого ответа на твой прямой вопрос.

— Почему?

— И на это не отвечу. По крайней мере, пока не закончу расследование. Тогда, возможно, что-то скажу.

— Возможно или наверное что-то скажешь?

— Этого сейчас не знаю.

Она повернулась к молчаливому Эдуарду.

— Ты слышал, Эдик? Я говорила тебе, что и в нашем устранении из лаборатории, и в самой гибели несчастного Кондрата скрывается тайна. Ты и теперь не веришь, что я права?

Он нехотя откликнулся на ее взволнованное воззвание:

— Ты хотела спросить о журнале, помнишь?

— Помню. Мартын, я не экспериментатор и должна тебе верить во всем, что относится к лабораторным работам. Но мы с Эдиком хотим сами взглянуть на рабочий журнал, который ты так внимательно изучал в тот день.

Я чуть не застонал от душевной боли. Я не мог исполнить ее требование и не мог объяснить, почему не могу исполнить.

— К сожалению, должен отказать в твоей просьбе, Адель.

— Требовании, а не просьбе, Мартын.

— И в требовании отказываю.

— Тогда разъясни — почему?

— И этого не скажу. Кончим на этом, друзья. Ваши вопросы подошли к той грани, за которой я не могу и не хочу ничего говорить. Наберитесь терпения — одно могу посоветовать.

— Набраться терпения? И сколько, дорогой Мартын? Килограмм, тонну? Или километр? На месяц, на год? На десять лет, если измерять терпение в единицах времени? Не откажи в любезности разъяснить.

Я молчал. Адель обернулась к Эдуарду.

— Что будем делать, Эдик? Набираться терпения, не зная даже, в каких единицах оно измеряется? Или настаивать на раскрытии всего, что от нас утаивают?

— Пойдем к Ларру или Сомову, — произнес Эдуард. — Руководители института поставят Мартына на место.

Она зло рассмеялась.

— Не поставят, а посадят. Вот он уже сидит — на месте начальника лаборатории. Это место для него заранее предусмотрено. Не будь наивным, Эдик. Сомов скажет тебе не больше того, что говорит Мартын.

— Но Мартын ничего не говорит.

— Значит, и Сомов ничего не скажет. Но если они молчат, то говорить будем мы. У нас есть что сказать и Сомову, и тебе, Мартын. Будешь слушать нас? Отвечай — будешь слушать?

— Буду, — сказал я.

— Тогда сними датчики мыслеграфа, они торчат над твоими ушами, как дьявольские рожки. То, что я теперь скажу, предназначено только для тебя, а не для Сомова, с которым ты спелся. С ним побеседуем особо.

— И без меня?

— Естественно! Но он с тобой поделится, не расстраивайся!

Решительно не понимаю, почему она так взъелась на запись разговора. Во всем, что она потом говорила, не было и слова, запретного для записи, ни брани, ни оскорблений. И она с блеском демонстрировала в почти часовой речи лучшее, чем обладала: свою логику. Речь была построена совершенно и прозвучала бы абсолютно убедительно, если бы не один изъян: безукоризненное логическое здание было выстроено на фальшивом фундаменте. И этого одного — что она исходит из ложных посылок — я объяснить не мог, именно это надо было скрывать. Я молчал и слушал. Она все больше воспламенялась от своих слов, а я молчал и слушал.

— Я уже давно заметила твое странное отношение к нашим исследованиям, — так она начала. — Ты первый нашел, что ротоновые ливни из вакуума способны менять микропространство в атомном ядре, и этим указал реальный путь к овладению новой формой энергии. Как бы вел себя нормальный человек — я, Эдик, сам Кондрат, наконец, — совершив такое открытие? Безмерно бы гордился собой, ликовал, торопил эксперименты. А как вел себя ты, Мартын? Даже не радовался — хмурился, а не сиял. Один среди нас впал в неверие! И когда поставил в университетской лаборатории опыты с ротонами, вспомни, как они шли. Плохо шли, ничего не получалось! И если бы Эдуард не устроил нам приглашения в Объединенный институт, никто бы не узнал о твоей замечательной находке. Ты мешал самому себе, так странно, так удивительно странно ты вел себя!

А что было потом, в стенах Объединенного института? Вспомни, что было потом? А не хочешь вспоминать, мы напомним. Та же загадочная холодность. То же необъяснимое нежелание успеха. Кондрат горел. Эдик и я были полны энтузиазма, а ты? Трудолюбиво выполнял задание — и только, Мартын, и только! А когда мы радовались, что вот уже не за горами признание и слава, ты молчаливо усмехался. Ты не видел своей усмешки, но мы видели недоверчивую, почти недоброжелательную. Мы думали тогда: ты такой ироник, скептик, да и не честолюбив, что с тебя взять. А ты — другой, не тот, каким видим тебя, каким видел тебя Кондрат, вообразивший в тебе все человеческие совершенства и благородства.

Одна я смутилась, когда ты отпустил Эдуарда, — говорила Адель. — Ну, не отпустил, отпускал Кондрат, но разве не ты заверил, что временно обойдемся без Эдуарда? И объявил это перед пуском ротонового генератора. Никто из нас троих не знал, что пуск — вот-вот, а ты знал и скрыл, чтобы Эдуард успел уехать. Зачем ты так поступил? Да, все верно, Эдуард был в смятении, надо было успокоить нервы, но ведь никто не мог гарантировать тогда, что генератор сразу пойдет. И ты отпускаешь его в такую минуту! Каждый отчаянно нужен, каждая пара рук, каждая голова, а ты отпускаешь Эдуарда! Как это понять? Равнодушие к делу, так объяснил себе Кондрат твой поступок и поссорился с тобой, а я вас мирила. Разве не так? А ведь было не равнодушие, было гораздо хуже! Так те дни видятся сегодня, только Кондрат не проник тогда в твои тайные цели, и очень жаль, что не проник!

И мне была темна твоя душа, — продолжала Адель. — Я нашла простое объяснение — ты завистлив. Ты ловко обеспечил уход Эдуарда, чтобы было меньше претендентов на славу. Маленькое тщеславие маленького человечка, таким ты мне вообразился. Я говорила это Кондрату, он возмущался, он считал тебя чуть ли не научным титаном, не раз повторял мне, как счастлив, что довелось работать с тобой. А как тебя ценил Эдуард! Он говорил, что ставит тебя наравне с Кондратом, даже выше. Да, я ошибалась тогда, ты не маленький человечек, Мартын, ты крупная личность, но крупный не той величиной, какую тебе приписывали. В тебе не дружба, а недоброжелательство, ты мастер зла, вот твоя натура!

По-настоящему я поняла тебя после возвращения Эдуарда. Все сразу пошло по-другому. Нет, внешне ты не переменился, ты умело таишь сокровенные помыслы. Но Кондрат стал иным. И утверждаю — под твоим воздействием! Вспомни, так хорошо шла работа, но вернулся Эдуард, и одолели неполадки. Не он вызывал их, но неполадки были связаны с его появлением. Эдуард был нежелателен тебе и Кондрату — вот причина того, что эксперименты залихорадило. А вскоре стала нежеланна и я. Я сказала «тебе и Кондрату», поправляюсь: тебе, а от этого и Кондрату. Ты стал его злым гением. Ты одолел его духовно, он глядел на мир твоими глазами. Он не раскрыл главного в тебе — твоего двуличия. Я однажды сказала Кондрату, что в тебе скрытое недоброжелательство, ты хотел меня в жены, а я отказалась, и ты не простил ни мне, ни Кондрату, что я отвергла тебя ради него. Кондрат обругал меня дурой, больше месяца мы разговаривали с ним только в лаборатории, а дома молчали и отворачивались один от другого.

А затем возникла проблема константы Тэта. Яд сомнения, впрыснутый тобой в Кондрата, дал результат. Кондрат стал выискивать причины неполадок не в твоих ротонах, а в своей идее. Уверена, что он в те дни потерял способность хладнокровной оценки экспериментов. А каким он стал невозможным для общения! Он избегал меня, старался не встречаться с Эдуардом, лишь с тобой как-то держался. Тот свод экспериментов в журнале, показанный нам, был актом отчаяния. Кондрат когда-то невольно акцентировался на удачных данных, теперь, расстроенный, акцентировал данные плохие. Но окончательную оценку он предоставил тебе. Помню, отчетливо помню, как ты перелистывал страницы: мы не дыша глядели на тебя, а у тебя были отсутствующие глаза, ты смотрел в журнал, а думал о другом. И что ты сказал потом? Я ждала, Эдик ждал, что скажешь единственно разумное: да, цифры нехороши, но надо их досконально проверить, не будем пока принимать других решений. И если бы ты сказал так, то не было бы никакой ссоры, ни мне, ни Эдуарду не пришлось бы уходить из лаборатории. Я обвиняю тебя, что ты давно хотел нашего ухода и думал только об этом, когда притворялся, что оцениваешь записи в журнале. И ты нанес свой безошибочный удар. Ты объявил, что константа Тэта преувеличена в сто раз! И мы с Эдуардом покинули лабораторию.

Адель минуту помолчала, она задыхалась от негодования. Справившись с дыханием, она продолжала:

— Коварный замысел отстранить двух нежеланных товарищей удался. Но это лишь часть замысла. Надо довершать задуманное — отстранить и самого Кондрата. До меня доходили сообщения, как вы оба ведете себя в лаборатории. Кондрат страдал, ты оставался безмятежно спокойным. Он начинал что-то новое, пытался обойти по кривой неудачу с константой. Ты наблюдал за Кондратом, но и не думал помочь, тебя не устраивал успех его новых начинаний. А потом ты увидел, что Кондрат встал на правильный путь, но путь опасен, новые эксперименты могут вызвать аварию. И ты подстроил новый скандал: поссорился с Кондратом, ушел из лаборатории, взвалил на Кондрата непосильную для него заботу — твой ротоновый генератор. Финал был неизбежен: один Кондрат не справился с новыми экспериментами — и погиб!

Я все же набрался сил промолчать. Мое молчание убеждало ее в моем бессилии. Она взвинчивала себя все больше.

— Ты долго держался в стороне, — говорила она, — но гибель Кондрата открыла тебе дорогу. Ты убрал все препятствия к единоличному торжеству, ты возвратился в лабораторию. Глупости, что было настояние Ларра и Сомова. Для дополнительных расследований надо приглашать нас всех, не одного тебя. Нет, ты вернулся один. Не расследовать трагедию, а восстановить лабораторию! Для себя одного восстановить, только для себя. Мы с Эдуардом ждали весточки, ждали вызова. И, как видишь, не дождались — пришли сами. И требуем ответа: что ты здесь делаешь? Почему отстраняешь нас?

Я сказал холодно:

— И на этот вопрос ответа не будет.

Эдуард решил, что пора и ему вмешаться:

— Мартын, прекрати! Мы имеем право спрашивать, ты обязан отвечать. Лаборатория ротоновой энергии — наше общее детище. Разговор служебный, а не личный.

— Именно потому, что служебный, а не личный, я не хочу вести его. Если недовольны, обратитесь к Сомову. Служебными делами занимается он.

Адели почудилось, что она обнаружила во мне слабину. Она отошла от окна, приблизилась к столу. Эдуард поспешно вскочил, он подумал, что она хочет меня ударить. Но она с ненавистью проговорила:

— Вот как, служебные разговоры не ведешь! А личные? Может быть, скажешь, как бывший друг Эдуарда и мой и как мой бывший неудачливый поклонник?.. Что лично, что неслужебно думаешь о нас?

Она и отдаленно не подозревала, какое принесла мне облегчение, предложив перейти от служебных отношений к личным.

— Об Эдуарде мне нечего говорить. Он молчал. Не знаю, что означало его молчание — полное ли согласие с тобой или осуждение твоей ярости. Но тебе могу сказать, как твой бывший друг, как твой бывший поклонник, как человек, радующийся, что ему не выпала тяжкая доля быть твоим мужем. Кондрат в раздражении обругал тебя дурой. Ты не дура, конечно. Ты умна, ты знающа, очень талантлива. Для тебя надо искать другие характеристики, брань не подойдет. Я слушал тебя и думал, кто же ты, — и понял! Раньше были такие понятия: мещане, обыватели, филистеры. Сейчас нет обывателей, нет мещан, никто свои мелкие житейские интересы не превращает в способ всеобщей оценки, не делает свое маленькое удобство центром мироустройства. Но исключения попадаются. Ты такое исключение. Ты мещанка в мире, где нет мещан. И все, что ты говорила мне, — мещанские мысли, мещанские чувства. Больше ничего не скажу, чтоб не выйти из круга личных отношений.

Она порывисто подошла к Эдуарду.

— Эдик, уйдем. Нас вторично изгоняют из этой лаборатории.

Он все же на прощание кивнул мне. До него что-то дошло, чего она не была способна понять.

21

Лишь минуту я отвел себе, чтобы успокоиться, — удивленно улыбался, пожимал плечами. Еще несколько дней назад такой разговор надолго выбил бы меня из душевной устойчивости. Не хочу лгать: было неприятно, что не могу ответить на острые вопросы, было стыдно, что нужно что-то скрывать, но и все! Гнев Адели, ее возмущение не трогали меня, бурный поток ее эмоций мчался стороной — принимать это близко к сердцу не хотелось. Хотелось одного: чтобы они поскорей ушли и можно было забыть об их приходе. Они ушли, и я забыл, что они только что были.

Вероятно, глубоко коснулось меня лишь то, что Адель говорила о новых экспериментах Кондрата, когда он остался вдвоем со мной. Она знала, что он ставил эти новые эксперименты, знала, что в них что-то важное, может быть, решающее. И она связала их с попыткой преодолеть неудачу определения Тэты. Она уловила важность новых опытов, но не разобралась в них. Опыты не могли исправить ошибку, ибо не было ошибки, они совершались для чего-то другого. И еще не знала Адель: что и в моей программе расследования я уперся в эти новые опыты и уже предвижу в них разгадку трагедии.

Они ушли, я мог двинуться дальше. Настал черед дневников Кондрата. Но я медлил. Мне хотелось повторить этап за этапом, шаг за шагом пройденный путь. Я включил запись мыслеграфа.

Пленка заговорила моим голосом. Я молчал все эти дни, я размышлял, перекатывая в голове мысль за мыслью, и звучащая пленка доносила сейчас моим голосом мои мысли. Два раза их прерывал голос Карла-Фридриха Сомова, звучали голоса Кондрата, Адели и Эдуарда, но не реальные, а преображенные, посторонние голоса, возобновленные мной по-своему. Раза два я смеялся: слишком уж карикатурно искажались голоса друзей во время споров и стычек. Пристрастен ты, дьявольски пристрастен, упрекнул я себя, не только неприятные мысли не принимаешь, но и голоса, высказывающие эти мысли, делаешь малоприятными. Упрек не превратился в огорчение, все люди пристрастны. Как скверно прозвучал бы мой собственный голос, перейди он из мозга Адели и Кондрата на пленку мыслеграфа.

— Итак, все проясняется, — подвел я итог шестидневной записи, — И ты высветляешься, друг мой Кондрат, по каким хмурым светом!

Снова напялив датчики мыслеграфа, я достал дневники Кондрата — всего три книжечки, свободно умещающиеся в кармане. Кондрат настоящих дневников не вел. Он не умел описывать событий, ему трудно было излагать даже собственные идеи. Дневники, насколько я понимаю, пишутся для последующего чтения, они вроде гладкого шоссе воспоминаний о том, что совершалось. Если уж придерживаться сравнения с дорогой воспоминаний, то в дневниках Кондрата самой дороги не было, одни дорожные знаки, да и не все, а самые важные — там круто повернуть, впереди опасный уклон, а здесь, черт их дери, ухабы. Свои мысли Кондрат не разъяснял, лишь ставил веху, что возникла мысль, надо к ней вернуться и развить. А к чему вернуться и что развивать, это он зачастую забывал сделать понятным даже для себя. И я с улыбкой вспомнил, как однажды он вошел ко мне с раскрытой книжицей и, тыча пальцем в страницу, сердито заговорил:

— Мартын, одна надежда — ты! Я тут какой-то вздор написал — убей, не пойму. Не то очень важное, не то пустяк. Разберешь?

— Итак, какой-то вздор, то есть не то очень важное, не то пустяк, повторил я и взял дневник. На страничке значилось: «Семнадцатый. В лоб или по лбу».

Недели за две перед тем мы ставили опыты по повышению выдачи энергии, Адель нумеровала их, но для себя в журнале мы отмечали даты, а не номера. И во время одного из опытов, кажется пятнадцатого по нумерации Адели, она предложила круто поднять выдачу энергии, чтобы, мол, ударить Сомова в лоб нашим успехом. Я поправил: не в лоб, а по лбу. Кондрат объявил, что ему безразлично, в лоб или по лбу, лишь бы крепко. И внес в дневник программу для семнадцатого опыта в такой сокращенной редакции. А назавтра забыл ее и прочел, когда шел опыт двадцатый.

— Чепуха, а не важное, — с огорчением констатировал Кондрат, когда я объяснил запись. — А без тебя бы мучился, что такое «по лбу». Мартын, ты рожден быть ученым секретарем в большом научном учреждении. Вот ходил бы за мной или Эдуардом и переводил наши путанные проекты на точный язык. У тебя бы получилось.

— Считаешь, что физика из меня не получается?

— Физик ты хороший. Ничуть не хуже, чем ученый секретарь.

Две первые книжицы дневников относились к тому периоду, когда я монтировал ротоновый генератор, а Кондрат строил энергетическую установку. Сплошь сумбурные записи. Одна, правда, меня развеселила — вполне в духе Кондрата напоминание о том, что он в запарке мог позабыть. «Пообедать» так он предписал себе на одной странице. Предписание относилось и к следующему дню — как видно, в следующие дни предвиделось много дел. В полной записи значилась немалая программа: «Мартын — нажать, лестница, два кабеля, пообедать, Адель отослать домой». Уж не знаю, как он собирался на меня «нажать», когда собирался отослать Адель домой и какая история случилась с лестницей, но что события предстояли чрезвычайные — в их числе и обед, — явствовало уже из того, что понадобилось их заранее расписывать. Что-либо важного для себя в тех первых двух книжицах я не нашел.

Третья вводила в тайну. Третью Кондрат начал после возвращения Эдуарда. И первые страницы были об Эдуарде. Записей было мало: слова, не выстроенные в предложения, восклицания, предписания себе, что-то начатое и неоконченное — воистину вехи на пути мыслей и поступков, когда самой дороги нет, но указатели подготовлены. Мне все было понятно, все с щемящей сердце отчетливостью ясно, я ведь сам в эти дни раздумий повторил почти весь проделанный Кондратом путь — в конце завершающей точкой значилась его гибель.

«Эдуард. Потолстел. Не жрал ли гарпов?» — не то удивление, не то издевка. Скорее, удивление, Кондрат не был способен на сарказм, а удивление знал, это чувство творческое, типичное у настоящего ученого, прикасающегося к загадке.

«Биологические генераторы полей! Непостижимая реальность!» следующая запись.

И снова о том же:

«Загадка не в поле, это и у человека. Интенсивность поля! Точно не установил. Плохой экспериментатор лезет в воины. Напрасно летал на Гарпию».

И опять Кондрат возвращается к интенсивности полей, генерируемых организмом гарпов. Это была самая пространная запись.

«В каких единицах? Человек — чудо. По интеллекту животные равноценны. Человек на сто порядков интеллектуальней быка или птицы. Ни бык, ни орел не создадут, убей их, интегрального исчисления, не нарисуют Мадонны Рафаэля. Гарп на столько же порядков выше всех животных мощью полей. Чудо. Иная ветвь мировой эволюции. Прыжок на другую дорогу. Эдуард дурак. Не разобрался».

Пометка того же дня:

«Дурак. Опасный. Ничего не создал, может все уничтожить. Обрубит поворот эволюции. А если поворот уникален? Один во всей Вселенной? Ферми и Жолио — с кем мне? Какова мера жертвы?»

Мысль Кондрата, поначалу чуть ли не философски обобщенная, понемногу приобретает векторную направленность.

«Помощь для преступления! Отказал. Найдет?»

«Не брать в лабораторию. Поговорить с Мартыном».

«Мартын чистоплюй. Близорук. Надавать бы пощечин! Без большой обиды чтоб. А Эдуарда — коленкой. Как?»

«Снова — нужно неизвестное оружие. Намек? Осматривал установку, запретил лезть наверх. Впредь — никому, даже Мартыну! А что толку?»

«Опять лез. Прогнал. Догадывается? Пусть сидит за расчетами».

«Мартын о габаритах. Не открываться».

«Мартын берется уменьшить габариты до переносных. Передвижные генераторы энергии! Черт бы его побрал, вдруг сделает? Еще наболтает Эдуарду».

«Удалить. Адель подозревает. И ее? Открыться Мартыну?»

«Чистоплюй. Разыграет простодушие».

«Радикальное решение. Остальное — без эффекта».

«Радикальное решение. Только!»

«Тэта. Но как?»

Пропуск, судя по датам, в несколько дней. Потом:

«Завтра. Взять себя в руки. Взять! Не перейти — прыгнуть через Рубикон!»

«Мартын. Не знаю, не знаю! Без него нельзя. А с ним?»

«Мартын остался. Верить ему? А без него как?»

«Сам ушел. Может, вернется? Шифр оставил. Воротится — расскажу. Пока один — побольше бактерий, насекомых, споры. Список и срочно затребовать. Может, ошибаюсь?»

Я откинулся на стуле, закрыл глаза. Вот так оно, стало быть, и совершалось, дорогой мой Кондрат! Сперва удивился природе гарпов, и на какое-то время это было главным — непостижимая физика генерирования в организме мощных силовых полей. Пытливость ученого — исследователя физических процессов. А потом — наряду с пытливостью — возмущение и страх, чувства совсем иного порядка, чем научная любознательность. Эдуард требует помощи для войны на Гарпии, ты возмущаешься и страшишься, что он наши находки использует как новое оружие, запрета на которое еще нет, ибо эти находки еще не оружие, а только могут им стать. Ты вспоминаешь о мерах безопасности в наших экспериментах. Было, было такое опасение, что разнообразные излучения, порожденные вторжением ротонов в атомные ядра, могут стать гибельными для организма. На установке надежная защита от попутных вредных излучений, и сама установка нетранспортабельна, это не орудие боя. А если сделать ее транспортабельной? А если счесть попутное главным — пренебречь выдаваемой полезной энергией ради убийственного излучения? Не станет ли тогда мирное сооружение эффективным средством войны? Вот о чем ты меня тогда допрашивал, Кондрат! Я слышал волнение в твоем голосе, но так и не понял, почему волнуешься. Я спокойно ответил тебе, что уменьшение габаритов генератора и установки — нехитрая инженерная задача, берусь это сделать, если надо. Теперь понимаю, почему в тот момент ты так странно, так беспомощно глядел на меня.

Наверное, в этот день ты и надумал ликвидировать наш коллектив. Эдуарда нельзя оставлять, очень уж его заинтересовали военные возможности нашей работы. Стало быть, придется распроститься и с Аделью, она, ты уже это понимал, не покинет Эдуарда. Ну, а я, дорогой Кондрат? Что надумал ты обо мне? Ничего ты не надумал! Хотел остаться в одиночестве-на свободе проверить, какого ждать вреда от полезного своего изобретения, — и хотел задержать меня, ибо могли возникнуть непредвиденности с ротоновым генератором, а я все же лучше тебя разбираюсь в физике ротонов. Ты колебался, не открыться ли? Но не открылся, не верил мне. И все вглядывался в портреты двух знаменитых физиков, столь противоположно очертивших свои жизненные пути. Сколько раз я заставал тебя на диване, неподвижного, с глазами, устрем — ленными на эти два одухотворенных лица, чем-то даже похожих одно на другое — худые, тонкие, умные. Почему ты так долго всматривался в этих двух старых физиков? Колебался? Не верю! Ты свой путь избрал сразу, не сомневаюсь в этом! Значит, оценивал меру жертвы, какую потребует такой путь! И старался понять, кто же из них двух принес большую жертву, ибо ни тому, ни другому не пришлось «провальсировать к славе шутя», как с горестной, но гордой убежденностью в своей правоте выразился один древний поэт, не разрешивший себе подобного победного вальса.

Я вскочил из-за Кондратова стола и, как еще недавно он, нервно зашагал по кабинету. При каждом повороте я вглядывался в два портрета. На столе лежала стопочка книг Энрико Ферми и Фредерика Жолио, присланных мне из библиотеки. Я думал о Ферми. Я не хотел перелистывать его книги, Ферми был ясен. Нет, Кондрат, путь этого человека ты сразу отверг, путь этот был чужд всему твоему естеству. Да, конечно, ты вспоминал, что Энрико Ферми, хоть на несколько часов позже, чем в Париже Фредерик Жолио, первый публично объявил на конференции физиков в Вашингтоне 26 января 1939 года, что цепная реакция деления ядер урана реальна и что при этой реакции выделяется энергии в миллионы раз больше, чем при горении нефти и угля. И что именно Ферми выстроил и 2 декабря 1942 года запустил первый в мире атомный реактор — единственное тогда на Земле инженерное сооружение, дающее энергию не от Солнца и солнечных продуктов — угля, дерева, нефти, горючих газов. И что именно Ферми, страшась, что и немецкие физики, служившие фашистским генералам, создадут атомное оружие, сам пошел на службу к генералам, был одним из творцов первой атомной бомбы. И что именно он, уже после разгрома фашизма, когда можно было обойтись без ядерного страшилища, собственноручной подписью скрепил решение сбросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, да еще очень мило сказал: «Нет, но ведь это такая интересная физика, господа!» Больше трехсот тысяч человек погибли в тех двух городах 6 и 9 августа 1945 года, когда над ними запылало чудовищное «солнце смерти», так назвал это изобретение один из соратников Ферми, Роберт Оппенгеймер, честно потом признавшийся: «Мы сделали работу за дьявола». Воистину очень интересная физика — «работа за дьявола», «солнце смерти», в тысячу раз более яркое, чем наше солнце, солнце жизни. Сотни тысяч испепеленных, превращенных в пламя и плазму, в газ и пыль, изуродованных, искалеченных, осужденных, кто остался жив, на мучительное умирание — жизнь без жизни. Ты думал об этом, Кондрат, не мог не думать! И не мог не вспоминать, что Энрико Ферми, устрашенный делом своего ума и рук, тихо отдалился от дальнейших работ над бомбой, превратился в смирного профессора, никаким новым выдающимся вкладом не обогатившего потом свою науку. Он молчал, он был молчалив, этот великий ученый, но ведь не мог же он не числить за собой уничтоженных и искалеченных женщин и детей! Как он справлялся с угрызениями человеческой совести, равно отпущенной и гению, и обывателю? Или совесть бывает безразмерной — одна для обыденности, другая для событий, провозглашенных великими? Нет, как он мерил свои научные успехи — вдохновением «интересной физики» или «работой за дьявола»? Не всякий венец славы украшает голову, иные ранят больней тернового венца.

— Значит, Фредерик Жолио, — сказал я вслух. — Раз уж ты отверг дорогу, по которой поднялся на вершину мировой славы Энрико Ферми, ты не мог не выбрать противоположный путь — путь Жолио. Давай теперь вспомним, какие жертвы принес на своем пути этот второй научный титан.

И я вспомнил, что еще в начале своей научной карьеры Фредерик Жолио с женой Ирен Кюри открыли искусственную радиоактивность и были за то награждены Нобелевской премией. Я помнил и речь Жолио при вручении премии, в ней были пророчески зловещие слова. Взяв томик Жолио, я раскрыл его на Нобелевской речи. Эту речь Жолио произнес в 1935 году, за три года до открытия ядерного деления. Я прочел заключительные фразы:

«...Мы вправе думать, что исследователи, конструируя или разрушая элементы по своему желанию, смогут осуществлять ядерные превращения взрывного характера, настоящие цепные химические реакции.

Если окажется, что такие превращения распространяются в веществе, то можно составить себе представление о том огромном освобождении полезной энергии, которое будет иметь место.

Но если они охватят все элементы нашей планеты, то мы должны с тревогой думать о последствиях такого рода катастрофы. Астрономы иногда наблюдали, что звезда средней яркости внезапно возрастает по величине; звезда, не видимая невооруженным взглядом, становится сильносветящейся и видимой без инструмента. Это — появление новой звезды. Такое внезапное увеличение яркости, быть может, вызвано подобными же превращениями взрывного характера, которые предвидит наше воображение. Быть может, исследователи попытаются осуществить такие процессы, причем они, как мы надеемся, примут необходимые меры предосторожности».

Я положил книгу на стол. В ней было много статей и докладов многогранное творчество большого ученого. Но я думал не о научных успехах этого человека, а о его сложном жизненном пути. Нет, Жолио не «провальсировал к славе шутя» и не видел в трагедии одного из величайших открытий человечества только «очень интересную физику». Он ближе всех физиков мира подошел к созданию ядерного оружия, но не пожелал его создавать, стал возводить, еще до Ферми, атомный реактор, генерирующий энергию, — мирный реактор, не бомбу. Немцы ворвались в его родной Париж, и реактор уже нельзя было конструировать, от него был всего один шаг к ядерной бомбе. Жолио разобрал реактор, сделал невозможным его восстановление. Что ему делать теперь в городе, оккупированном врагами? Он не мог забросить физику — единственную жизненную дорогу, не мог оставить науку о ядре — главную страсть души. Два разветвления давали открытия в атомном ядре: энергия для промышленности и быта и энергия военная, уничтожающая людей. Оба пути были запретны для Жолио — один на время войны, другой навечно.

И Жолио изобретает третий путь поисков — воистину пророческое предвидение грядущих бед. Еще не взорвалась зловещая бомба, еще не вспыхнуло чудовищное «солнце смерти», еще никто не корчился в радиоактивных ожогах, а Жолио изучает воздействие ядерных излучений на живую клетку, заранее ищет средства вызволения от несчастья, которое, он предвидит, может наступить. Разве он несколько лет назад не объявил в Нобелевской речи, что опыты физиков несут в себе грозную опасность для всех людей на планете, для существования самой планеты? И разве он не выразил надежду, почти мольбу, что они, эти будущие исследователи, «примут необходимые меры предосторожности»? Верил ли он в годы войны, в терзаемом оккупантами Париже, что выполнят его надежду, услышат его мольбу недавние друзья, его сотоварищи, его добрые научные соперники, в эти тяжкие военные дни исступленно, он в том не сомневался, конструирующие за океаном чудовищное ядерное оружие? Может быть, и верил — кто знает? Но всю силу ума, всю энергию воли он направил на то, чтобы заранее подготовить помощь, если помощь понадобится. Трудный путь выбрал этот человек — единственный для него путь!

Но вот отгремела война, думал я, шагая по кабинету Кондрата. И вспыхнуло «солнце смерти» над японскими островами — сотни тысяч людей в считанные минуты превратились в пепел, десятки тысяч корчатся, пронизанные смертоносным излучением. Какая громкая слава гремит о людях, создавших неслыханное оружие! Какими пышными венками увенчивают их, великих героев науки, его недавних друзей, его недавних научных соперников! Всего четыре-пять лет назад они торопились за ним, он тогда вырвался вперед, теперь они торжествуют, что им удалось то, что он сделать не сумел, так им думается о нем. Самый раз показать им всем, что рано хоронить его научный гений! Он снова вырвется вперед, умножит возможности атомного ядра, создаст оружие, перед которым в ужасе отшатнутся и они! Нужно, нужно приступить к такому делу, этого требует величие страны. Правительство Франции в 1946 году вручает Жолио маршальский жезл науки, он в своей стране Верховный комиссар по атомной энергии — возможность реального дела, о которой он не смел и мечтать! И он в декабре 1948 года вводит в эксплуатацию мирный ядерный реактор и с вызовом называет его «Зоэ» жизнь; единственный в мире реактор, получивший собственное имя. И оно прозвучало пощечиной тем, кто зажег «солнце смерти». Да, да, уже в самом названии реактора обозначался путь, по какому Жолио отныне поведет науку, — жизнь, а не смерть, — и он с него никуда не свернет!

Жолио знает, что правительство Франции не примет его пути. Правительство требует ядерного оружия. Он отказывает правительству, он будет служить только миру, а не войне. Он понимает, что вслед за отказом последует отстранение от всех ядерных исследований, что ему запретят даже появляться в лабораториях, которые он создавал. Он без колебаний приносит и жертву отказа от любимой науки. В газетах вопят, что коммуниста Фредерика Жолио-Кюри наконец с позором выгнали из секретных лабораторий страны. Он принимает как великий почет то, что враги именуют «позором», он уверен, что все честные люди его времени, все последующие поколения увидят в его отказе от науки войны подвиг, а не позор. Ах, как им хотелось, правителям, водрузить на голову великого ученого терновый венец всенародного осуждения. Но они увенчали его короной подлинной славы!

Жолио идет дальше отказа от науки, вспоминал я. Один из организаторов всепланетного движения за мир, первый председатель Всемирного Совета Мира, главный автор знаменитого «Стокгольмского воззвания к человечеству», требующего запретить ядерное оружие как преступное — вот таким он предстает всей Земле, Почти миллиард людей поставили свои подписи под «Стокгольмским воззванием», в каждой подписи — благодарность Фредерику Жолио-Кюри за восстание против ядерного истребления. И ни один человек не поставил своей подписи под публичной благодарностью тем, кто во имя «очень интересной физики» превращал великие открытия в зловещие изобретения. Где истинная слава? Где подлинный позор?

Я устал бегать по комнате, сел за стол. Мысли мои от двух знаменитых физиков, двух огромно одаренных людей, столь по-разному выбравших себе дороги славы, столь неодинаковые жертвы принесших на этих дорогах, обратились к Кондрату.

— Теперь я понимаю, Кондрат, — сказал я вслух погибшему другу, теперь понимаю, почему ты с таким мучительным интересом всматривался в те два портрета. Путь свой ты выбрал сразу. И, оценивая жертвы, которые принесешь на этом пути, допрашивал себя, вынесешь ли такие жертвы? Что ж, ты вынес, что взвалил на себя. Не корю, что среди принесенных тобой жертв и я. Хотя со мной могло быть и по-иному, дорогой мой, бедный мой Кондрат!

22

Собственно, теперь можно было обойтись и без изучения оставшихся страниц дневника. Я знал, что в них будут описания воздействия установки на живые клетки. Для этого Кондрат втайне заказывал наборы бактерий и насекомых. Металлический цилиндрик, упавший сверху на меня и вызвавший ссору с Кондратом, содержал, по всему, такую коллекцию клеток или насекомых — Кондрат, со злостью вспоминавший летающий и ползающий гнус в лесах его родной Курейки, ныне использовал ненавистных тварей для опытов.

И без особого интереса я стал перелистывать последние страницы дневника. Но с каждой страницей я вчитывался все внимательней. Две мысли вырисовывались у меня, и каждая была неожиданной.

Я должен остановиться на них. Первая — Кондрат кустарь. В каком-нибудь девятнадцатом веке еще могли ограничиться столь бедной программой, столь примитивной аппаратурой, столь несовершенными методами анализа. Кондрат все же не был биологом, и это наложило печать на то, что он делал. Надо было пригласить настоящего специалиста, но он побоялся посвящать посторонних в тайны своих исследований, он уверил себя, что обойдется собственным умением. Не выше студенческих работ были те опыты, что он поставил.

Такова была первая мысль. Вторая опровергала ее. В примитивную методику Кондрат внес строгую тщательность. Он ставил себе немного вопросов из тех, что возникают при самом поверхностном изучении проблемы. Но элементарные эти вопросы он исследовал не элементарно. Не только спрашивал, но и переспрашивал, заходил к каждому вопросу с разных боков. Он всегда был дотошным и в последнее свое исследование внес полную меру природной дотошности. На главный вопрос: «Может ли наша ротоновая установка стать губительной для живой ткани», он получил исчерпывающий ответ: «Да, может».

И я стал думать о том, что в старину важные открытия часто совершались в плохо оборудованных лабораториях, в результате элементарных опытов. Ибо ставился простой вопрос природе: «Да или нет?»

И она отвечала на простой вопрос простым ответом. Изучение тончайших количественных закономерностей придет потом — в специализированных лабораториях, в роскошных научных институтах. Кондрат в нашем блестяще оборудованном, знаменитом Объединенном институте № 18 проводил свои последние исследования по старинке, стало быть, выше простых ответов подняться не мог — и, как не раз бывало в старину, получил на свой простой вопрос «Да или нет?» точный и грозный ответ: «Да!»

Ему бы остановиться на этом. Все дальнейшее поручить бы специализированной лаборатории. Кондрат в безмерном своем самомнении либо в столь же безмерном отчаянии? — пошел дальше и погиб!

Последняя запись в дневнике была ключом к тайне трагедии. «Гарпы. Броня, — так записал Кондрат план своего нового эксперимента. — Защитный экран? Короткодействие? Радиус эффекта?» Бедный мой друг Кондрат, ты начал дело не по силам, ты перешел от качественных к количественным экспериментам — не было, не было в нашей лаборатории надежных средств для них! И хоть бы я находился рядом с тобой! Хоть бы я был рядом!

Я бросил дневник Кондрата, выскочил из-за стола. И снова шагал и шагал по его кабинету, гоня от себя горестную мысль, что был бы в лаборатории — и не погиб бы Кондрат.

Взяв себя немного в руки, я вернулся к столу. Настала очередь официального отчета о катастрофе в Лаборатории ротоновой энергии. Я уже читал его, нового в нем не было. И только на стереографиях, приложенных к отчету, я остановил внимание. Их было четыре, одна — общий вид энергетической установки, три другие — помещение ротонового генератора. Шесть лет я считал это помещение своим единоличным царством, оно и было таким, я властвовал в нем безраздельно. На двух снимках — сам генератор, подсобные механизмы, система автоматического управления, трубопроводы, приемники и излучатели. А на третьем — человек, неосторожно вторгнувшийся в это специализированное царство и заплативший своей жизнью за вторжение: Кондрат — окровавленное лицо, сожженная одежда, изломанные руки, перебитая нога... Я закрыл глаза, перехватило дыхание — так горько, так непереносимо было глядеть на третий снимок!

Спрятав стереографии и отчет в папку, я положил их в ящик стола — они больше не были нужны.

Я вышел из кабинета Кондрата и спустился в нижний этаж, в помещение ротонового генератора. Год я не был здесь, не спускался сюда и всю неделю, что провел в записи воспоминаний и чтении рабочих журналов и дневников. Уже внизу я обнаружил, что забыл снять датчики мыслеграфа, и засунул их в карман. Я ожидал увидеть картину страшных разрушений, стереографии именно их фиксировали. Но разрушений было немного — поваленные трубопроводы, покалеченная автоматика. Генератор выглядел целым. Я остановился около него — осматривался, думал о том, что здесь совершилось.

И снова у меня стеснило дыхание. Именно здесь, на этот покрытый синтетической кожей пол, повалился сраженный скачком электрического напряжения Кондрат, здесь его какие-то секунды выкручивало, выламывало кости, здесь он закричал последним пронзительным криком, самописцы точно зафиксировали его призыв о помощи, на который не могло быть ответа, ибо он был один, а автоматика уже отказала. Вот так описала комиссия картину его гибели. Все было так, ни в одном факте не исказили действительность эксперты. И все было не так, ибо официальная картина передавала лишь то, что могла увидеть комиссия. Я любовался генератором и ненавидел его — мое детище, лучшее из всего, что я создал, что я мог создать, он был истинным убийцей Кондрата. До боли в сердце я понимал, что происходило в ту страшную минуту. Кондрат расставил наверху вокруг фарфорового преобразователя свои цилиндрики и пробирочки с живой материей, прикрыл их защитными щитками, имитирующими и броню гарпов, и любую другую броню, что может понадобиться, если ротоновый преобразователь где-нибудь обратят и на человека. А потом спустился вниз манипулировать генератором. Каждый аппарат имеет свой особый характер, нет двух абсолютно одинаковых машин, а мой генератор пока единственный в мире. Я знал его, привык к нему, и он знал меня и привык ко мне. Ни в каких инструкциях не выразить всей индивидуальности сложнейшей да и капризной машины, Кондрат об этом и не подумал, когда задавал напряжение на генератор. Что в ту несчастную минуту испугало Кондрата? Глухой шум, вырвавшийся из недр машины? Я тоже не раз слышал этот шум, он и меня вначале пугал, потом перестал — настоящей опасности в нем не было. Или сигнал сверху о перегрузке преобразователя надо уменьшить подачу ротонов? Почему вместо плавного уменьшения Кондрат вдруг дал полную остановку? Он не мог не знать, что в момент такой остановки гигантски взметывается напряжение на генераторе! Ну и пусть взметывается, всего ведь доли секунды, автоматика надежно погасит любое перенапряжение. Нет, испугался, рванул назад, две встречные команды заблокировали одна другую — выбило защиту. И вот результат — вверху взрыв разметал в осколки и сам преобразователь, и все, что было установлено вокруг него. А внизу корчился и стонал изломанный и полусожженный Кондрат — единственный человек на всех трех этажах здания.

Я поднялся наверх, еще никогда мне не было так тяжко преодолевать короткую лестницу — два раза, останавливаясь, хватался за перила, чтобы не упасть.

В кабинете Кондрата я вызвал Сомова и доложил:

— Исследование закончено. Разрешите прийти.

И опять он ответил, как в первый раз, когда я просил приема:

— Не надо. Иду к вам.

23

Карл-Фридрих Сомов сидел на диване, я за столом. Я хорошо знал, что сообщать ему, но трудно было заговорить. Слишком много неверного и обманного разделяло нас, чтобы вот так, одной фразой, преодолеть выдуманный барьер. Реально этого барьера не было, как я теперь запоздало сознавал. Он улыбнулся, он понимал мое состояние.

— Итак, вы знаете, отчего погиб Сабуров, — негромко сказал Сомов. Мне кажется, я тоже знаю это. Он погиб...

Я прервал его:

— Да, вы правы. Кондрат Сабуров погиб оттого, что устрашился своего изобретения. Он понял, что мирная установка может стать механизмом уничтожения, может быть использована как боевое оружие.

— Может стать прототипом боевого оружия, а не оружием, не так ли? поправил меня Сомов, — Имею в виду крупные габариты, нетранспортабельность вашей установки.

Он был совершенно спокоен. Он, я сразу понял, заранее знал, что я скажу. И чтобы показать, что я тоже знаю о его невысказанном вслух знании, я и произнес эту фразу: «Да, вы правы». Она была ответом на его мысли, а не на его слова. Но полностью обстановки в ротоновой лаборатории он все же не представлял себе и тоже об этом догадывался.

Сомов с вежливым вниманием ждал ответа. Я резко сказал:

— Именно боевое оружие. Не преувеличивайте трудностей с подвижностью и габаритами. Все это мелочи.

— Но я думаю...

Я не дал ему договорить.

— И Сабуров думал, как вы. Верней, надеялся, что будет так. Но было по-другому, и это стало одной из причин его гибели.

— Ваша мысль мне не ясна, — признался он с некоторым удивлением, Сабуров, стало быть, понял, что ваша установка уже в ее теперешнем виде может быть использована как боевое оружие? Так?

— Нет. Он узнал, что очень легко изменить габариты ротонового генератора и энергетической установки, чтобы система стала вполне транспортабельной. И тогда источник полезной энергии превратится в вулкан смертоносного излучения.

— Как узнал?

— Я ему сказал. И вызвался сделать генератор транспортабельным. Я не подозревал, какие страшные мысли связаны у Сабурова с габаритами наших агрегатов. Мое объяснение привело его в ужас. Он заспешил с постановкой опытов. Принимаю на себя часть вины за его гибель.

— Друг Мартын, не преувеличивайте своих проступков и не придумывайте необоснованных самообвинений. Я числю за вами только одну несомненную вину: что вы поддались вспышке негодования на Сабурова и покинули лабораторию. Останься вы в ней, возможно, катастрофы не было бы.

— Не знаю, не знаю...

— Хорошо, оставим это. Но объясните вот что. Если установка генерирует опасное излучение, то как вы четверо остались невредимы? Очень сложное явление, не так ли?

— Наоборот, очень простое. Наша установка предназначена выдавать полезную энергию, а не генерировать убийственное излучение. Излучение попутный, а не основной процесс. И оно, во-первых, очень слабо, а во-вторых, короткодейственно. При низкой интенсивности оно поглощается полностью так близко и так сразу, что не грозит находящимся вокруг людям. Но попутный процесс легко превратить в основной. И можно так форсировать излучение, что оно потеряет свою короткодейственность. Помните запись Кондрата в дневнике: «Короткодействие? Радиус эффекта?» Он поставил себе этот вопрос. И размещал свои живые пробы на разном отдалении от преобразователя, чтобы установить радиус действия. Кондрат не был специалистом в ротонах и преувеличивал трудности обращения с ними. Что до меня, то берусь в несколько дней превратить нашу установку, ныне безопасную для всех, кто ее обслуживает, в адский механизм, губительный для каждого, кто пройдет мимо лаборатории.

Сомов очень вежливо сказал:

— Удивительно интересно. Вы и вправду хотели бы испытать ваше изобретение, так сказать, на губительность?

— Послушайте, Карл-Фридрих. Давайте не будем ходить вокруг до около важной проблемы, а приступим к ней сразу. Признаюсь, что я долго не понимал вас, мы все, не я один. Но вы разглядели меня, этим объясняю, что мне поручили разобраться в катастрофе. Теперь остается решить, что делать с покинутой всеми Лабораторией ротоновой энергии.

— Ваше предложение, друг Мартын?

— Самое простое — взорвать ее! Или, если не хотите грохота, демонтировать. Чтобы даже памяти не сохранилось о нашем опасном изобретении.

— Я догадывался, что именно это вы и предложите. А вы догадываетесь, что я отвечу на ваше предложение?

— Не только догадываюсь, но уверен. Пожмете мне руку и пообещаете начать демонтаж.

— Пожму вам руку охотно, но не за предложение демонтировать лабораторию, тем более взорвать ее, а за хорошее изучение причин катастрофы. У нас с Ларром иные планы.

— Какие?

— Восстановить лабораторию. И поручить вам возглавить ее.

Я воскликнул:

— Но ведь это значит!..

Теперь он прервал меня:

— Это значит, что основная программа вашей лаборатории — найти новые формы энергии и поставить их на службу человечеству — далеко перекрывает попутные неудобства и опасности. Неудобства мы преодолеем, от опасности защитимся. И лучше всех это сможете сделать именно вы, ибо вы знаете, какие блага принесут миру новые источники энергии, научным преступлением будет отказаться от них. Вы определили меру опасности ваших механизмов и сумеете предохранить нас от превращения полезных изобретений в средства разрушения. Мы с Ларром не раз говорили о вашей лаборатории. Мы не знаем другого человека, который бы так подходил в ее руководители. Сотрудников вы вольны подбирать сами. Ваш ответ я передам Ларру.

Я не спешил с ответом. Я думал об Адели и Эдуарде. Сомов предлагал мне то самое, что позавчера Адель гневно бросила мне в лицо как обвинение. Я пришел в кабинет Кондрата, чтоб утвердиться в нем начальником, так она сказала, так она теперь будет каждодневно думать. Она увидит в моем поступке постыдный ход карьериста. И не пригласить ее и Эдуарда в лабораторию я не могу. Они этого хотят, они имеют на это научное и моральное право. Как отнесется Эдуард к тому, что энергетическая установка способна превратиться в то самое боевое оружие, о каком он мечтает для завоевания Гарпии? Кондрат, охваченный страхом, что Эдуард дознается о такой возможности, удалил его, а заодно разорвал и с женой. А я призову их, продемонстрирую Эдуарду, как легко осуществить его мечту... «Введу во искушение» — так это называлось в старину.

И я сказал:

— Благодарю за прекрасное предложение, но отказываюсь. Вы хотите взвалить на меня непосильный груз, Карл-Фридрих. Нас было четверо в лаборатории, теперь осталось трое, мы трое — полноправные участники ротонового проекта. Допускаю, что мои друзья примирятся с тем, что из соратника я стал их начальником. Но как я смогу осадить Ширвинда, когда он узнает, куда способно повернуть наше изобретение? Знаю, вы не ожидали от меня отказа...

Он опять прервал меня:

— Почему не ожидали? Не сомневались, что откажетесь.

— Тогда зачем предлагаете?

— Не сомневаемся еще в одном: что возьмете свой отказ обратно, когда узнаете два новых обстоятельства.

— Новые обстоятельства? И сразу два? Слушаю, КарлФридрих.

— Первое, Президиум Всемирной Академии наук постановил учредить специальную комиссию по надзору за возможными последствиями всех новых изобретений. Отныне будет оцениваться не только реальная польза от научных исследований, но и предполагаемый вред от них. Огюст Ларр теперь член комиссии по контролю над «добром» и «злом» любых изысканий. Комиссия будет оценивать каждый технический проект не только технологически, но и морально. И могу гарантировать, что она никогда не позволит превратить установку для выдачи полезной энергии в боевое оружие.

— Огюст Ларр — член комиссии. А кто председатель?

— Председателем избран я. Думаю, это обеспечит вам то научное спокойствие, без которого вы не сможете восстановить ротоновую лабораторию.

— Поздравляю вас с избранием, Карл-Фридрих! Нет, вы еще не гарантировали мне полного научного спокойствия. Год назад, вернувшись с Гарпии, Ширвинд доказывал, что нет закона, запрещающего изобретать еще неизвестное оружие, ибо это было бы равносильно запрету любых еще не изобретенных изобретений. Ведь неясно, как может быть впоследствии использовано то, чего пока еще нет. Как видите, вы еще не рассеяли моих сомнений.

— Сейчас рассею, — спокойно возразил Сомов. — Я сказал, что появились два важных обстоятельства, но рассказал об одном.

— Слушаю второе.

— Второе состоит в том, что правительство приняло ряд новых законов о производстве оружия. Один, частный закон, касается непосредственно Гарпии. На Гарпию запрещено отправлять любое оружие — не только уже известное, но и неиспробованное, — если оно губительно для гарпов. На Гарпии разрешены только отношения мира и дружбы.

— А если гарпы не пожелают мира и дружбы?

— Тогда мы оставим планету, пока не изобретем приемлемых для гарпов средств мирного общения. Наша наука достаточно сильна, чтобы найти такие средства, и Земля достаточно могуча, чтобы обойтись какой-то срок без гарпийских богатств. Но я уже сказал, что закон о Гарпии — частный закон. Принят и общий — полный запрет не только уже изобретенного во все прошлые века убийственного оружия, но и запрет любых попыток создать такое оружие. И контролировать выполнение этого закона поручено комиссии, которую я имею честь возглавить. Теперь я рассеял ваши сомнения?

— Теперь рассеяли, — сказал я и протянул Сомову руку.